

Русская литература

№ 3

И С Т О Р И К О - Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й Ж У Р Н А Л

1988

Журнал выходит с 1958 года

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
А. А. Михайлов. «Это время гудит...» (поэма Маяковского «Хорошо!»: Взгляд из 80-х)	3
В. Н. Альфонсов. «Запись со многих концов разом» (Принципы поэтического повествования в «Спекторском» Бориса Пастернака)	32
Б. Ф. Егоров. Н. И. Соловьев — литературный критик	60

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Борис Зайцев. Жуковский (примечания Ю. М. Прозорова)	78
А. М. Грачева. Древнерусские повести в пересказах А. М. Ремизова	110
А. М. Ремизов. Савва Грудцын	118

К Х М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М У С Ъ Е З Д У С Л А В И С Т О В

О. В. Творогов. Свое и чужое: Переводные и оригинальные памятники в древнерусских сборниках XII—XIV веков	135
А. М. Панченко. Петр I и славянская идея	146

П У Б Л И К А Ц И И И С О О Б Щ Е Н И Я

В. Э. Вацуро. Из литературных отношений Баратынского	153
И. Ф. Иовва. О пребывании и высылке Пушкина из Одессы (по архивным материалам)	164
И. В. Немировский. Биографический подтекст в дружеских посланиях Пушкина периода южной ссылки	165
Г. А. Тиме. И. С. Тургенев в переписке с Бернгардтом Эрихом Бере (по новым материалам второго академического Собрания писем И. С. Тургенева)	170

(См. на обороте)

Письма Л. Н. Толстого и о нем из архива В. Генкеля (публикация Розвиги Лёв (<i>ГДР</i>))	174
А. Г. Мец. О составе и композиции первой книги стихов О. Э. Мандельштама «Камень»	179
Письмо в защиту Н. С. Гумилева (публикация М. Д. Эльзона)	182
Я. С. Лурье, В. М. Панях. Работа М. А. Булгакова над курсом истории СССР	183

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Иштван Феньвешти (<i>Венгрия</i>). Русская литература глазами венгров	194
Д. М. Буланин. Исследования по языку и литературе Древней Руси	198
Т. Г. Мальчукова. Первая монография о Тредиаковском	204
С. Я. Сомова, Р. Ю. Данилевский. Данте в русской литературе	211
С. Н. Носов. Английское исследование жизни и творчества В. Ф. Одоевского	214
В. А. Туниманов. Лесковский том «Revue des études slaves»	216

ХРОНИКА

М. В. Рождественская. Памяти академика А. С. Орлова	221
М. Ю. Коренева. Научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения Байрона	223
О. Б. Алексеева. 24-я Некрасовская конференция	225
М. Ю. Коренева. Научная конференция, посвященная 150-летию со дня рождения Александра Николаевича Веселовского	230
А. Г. Бобров. Научное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения В. П. Адриановой-Перетц	237

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Л. Н. Черенков. Об анахронизмах, цыганском фольклоре и компетентности	242
С. Н. Азбелев. Фольклор надо издавать фольклористам	245

Редакционная коллегия:

Н. Н. СКАТОВ (и. о. главного редактора),
 В. Н. БАСКАКОВ, Г. Я. ГАЛАГАН (зам. главного редактора),
 А. А. ГОРЕЛОВ, Г. А. ГОРЫШИН, В. Я. ГРЕЧНЕВ, Н. А. ГРОЗНОВА,
 Л. А. ДМИТРИЕВ, Б. Ф. ЕГОРОВ, А. И. ПАВЛОВСКИЙ, А. М. ПАНЧЕНКО,
 В. А. ТУНИМАНОВ, С. А. ФОМИЧЕВ, Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: 199034, Ленинград, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

Журнал выходит 4 раза в год

ДРЕВНЕРУССКИЕ ПОВЕСТИ В ПЕРЕСКАЗАХ А. М. РЕМИЗОВА

Один из интереснейших русских писателей XX века Алексей Михайлович Ремизов с самого начала своей творческой деятельности создавал не только произведения о современности, но и переработки, пересказы древнерусских повестей, апокрифов, патериковых рассказов, сказок.

С 900-х годов и вплоть до настоящего времени вторая линия творчества писателя (его обработки фольклорных и древнерусских источников) возбуждала споры у многих литераторов и критиков. Подчас это было открытое неприятие: например, И. А. Бунин писал, что Ремизов делает «тошнотворным русский язык, беря драгоценные русские сказания, сказки, „словеса золотые“, и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архируссизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно».¹ Гораздо реже творчество Ремизова встречало сочувственную поддержку.²

Обработки фольклорных и древнерусских источников составляют значительную часть наследия писателя. Их исследование позволит определить истинное значение творчества Ремизова в литературе начала XX века. Ремизовские обработки представляют интерес при изучении истоков мифологизма в русской литературе рубежа веков и могут быть сопоставлены с исканиями А. Блока, Ин. Анненского, Вяч. Иванова, С. Городецкого и ряда других писателей. Имманентный анализ его пересказов и сопоставление их с другими произведениями, близкими по художественным задачам, помогут в решении проблемы стилизации. Как показали современные исследования, творчество Ремизова оказало воздействие на раннюю советскую прозу начала 20-х годов.³ Изучение ремизовских обработок фольклорных и древнерусских текстов, сказовых по форме, полных сказочной образности и лирического субъективизма, поможет бо-

лее глубоко понять характер недолговременного, но существенного влияния Ремизова на орнаментальную прозу.

На протяжении всего своего творческого пути Ремизов обращался к произведениям древнерусской литературы. При этом он исследовательски подходил к выбору текста — источника своего пересказа. Он выбирал произведения, сыгравшие значительную роль в древнерусской литературе, любимые народным читателем и, в то же время, созвучные своими «вечными» проблемами человеку XX века. Ремизов пересказывал тексты, найденные им в рукописных сборниках или опубликованные в научных изданиях. Не случайно, что в советском литературоведении научный интерес к изучению ремизовских переработок возник именно у исследователей древнерусской литературы Я. С. Лурье,⁴ Д. С. Лихачева,⁵ Р. П. Дмитриевой.⁶

Начиная с 1910-х годов Ремизов создавал переработки древнерусских апокрифов, житий, патериковых рассказов, целых сборников постоянного состава. Но особое место в его творчестве занимают пересказы древнерусских повестей, переводных и оригинальных. Ремизов «переложил» для современного читателя большинство лучших произведений этого жанра: «Царь Аггей», «Аполлон Тирский»; «Савва Грудцын», «Соломония»; «Брунцвиг», «Мелюзина»; «Бова Королевич», «Тристан и Исольда»; «Повесть о двух зверях. Стефанит и Ихнелат»; «Круг счастья. Легенды о царе Соломоне»; «О Петре и Февронии Муромских»⁷ и др. Эти произведения,

⁴ Лурье Я. С. А. М. Ремизов и древнерусский «Стефанит и Ихнелат». — Русская литература, 1966, № 4, с. 176—179.

⁵ Истоки русской беллетристики. М.; Л., 1970, с. 536, прим. 84.

⁶ Дмитриева Р. П. «Повесть о Петре и Февронии» в пересказе А. М. Ремизова. — ТОДРЛ, 1971, т. XXVI, с. 155—176.

⁷ Ремизов А. 1) «Аполлон Тирский»; «Царь Аггей». — В кн.: Ремизов А. Трава-мурава: Сказания. Берлин, 1922, с. 91—142, 143—151; 2) Бесноватые: Савва Грудцын и Соломония. Париж, 1951, 93 с.; 3) Мелюзина и Брунцвиг. Париж, 1952, 72 с.; 4) Тристан и Исольда; Бова Королевич. Париж, 1957, 139 с.; 5) Повесть о двух зверях: Стефанит и Ихне-

¹ Лит. Россия, 1978, № 8 (788), 24 февр., с. 11.

² Например, см.: Блок А. А. Собр. соч.: В 8-ми т. М.; Л., 1962, т. 5, с. 408.

³ Грознова Н. А. Ранняя советская проза: 1917-1925. Л., 1976, с. 39.

создававшиеся Ремизовым на протяжении многих лет, тяготеют к объединению в цикл, характеризующийся общностью проблематики и поэтики. В нем имеются еще внутренние подциклы, формировавшиеся иногда в течение долгого времени. Например, первая из повестей цикла «Легенды о царе Соломоне» была создана в 1911, а последняя — в 1957 году. Циклизация текстов обусловила «ансамблевый» принцип их издания, она была отражена и в печатавшихся на последних страницах книг Ремизова планах дальнейших публикаций. На основании конкретного анализа отдельных ремизовских переработок древнерусских повестей⁸ можно сделать ряд выводов о проблематике и поэтике этих произведений, о художественной задаче их автора.⁹

Создавая оригинальные тексты, основанные на фольклорных или древнерусских источниках, Ремизов ставил перед собой задачу реконструировать «народный миф». Он раскрыл теоретические принципы своих переделок в «Письме в редакцию» журнала «Золотое Руно»¹⁰ после того, как критики, не понимавшие мотивов подобного использования опубликованных фольклорных текстов, незаслуженно обвинили его в плагиате.¹¹ Ключевое значение «Письма в редакцию» для понимания творческой позиции Ремизова впервые отметила в своей статье Р. П. Дмитриева. Миф в представлении писателя — это первооснова, прототип «очевидца» когда-то действительно случившегося события. Сама первооснова может быть скрыта под разного рода наслоениями в процессе письменной или устной фиксации. Если миф сохранился только в «обломках» (обрядках, пословицах, заговорах и т. п.), то задача писателя состояла в восстановлении целого из его частей. Если же имелась связная, пусть и искаженная

фиксация мифа, то воссоздание его шло путем «очищения» уже имеющегося единого сюжета. В этом случае Ремизов пользовался приемом художественного пересказа «строго ограниченного текста»¹² наименее, по мнению писателя, подвергнувшегося искажениям.

Для Ремизова древнерусская литература и фольклор были тесно взаимосвязаны, и поэтому писатель всегда стремился «возвратить» древнерусское произведение к его фольклорным, а в ряде случаев просто к его реальным или воображаемым устным истокам — рассказу очевидца когда-то случившегося события. Так в переделках переводных повестей «Бова Королевич», «Мелюзина», «Тристан и Исольда» Ремизов как бы возвращал сюжеты этих рыцарских романов к их фольклорной основе (сказке, легенде, *саре*). В переделках оригинальных повестей XVII века («Савва Грудцын», «Соломония») писатель уничтожал «искажения», якобы возникшие при письменной фиксации событий. В пересказах Ремизова когда-то случившееся вновь непосредственно происходило и переживалось героями. Воссоздавая «истинное» событие, писатель переосмыслил источники: и демонологическую повесть («Савва Грудцын»), и житие («О Петре и Февронии Муромских»), и народный роман («Бова Королевич»), и геральдическую легенду («Брунцвиг»), как трагические повествования. При этом для писателя имела большое значение фигура рассказчика истории, который, как и рассказчик в народной сказке, присутствует одновременно и в волшебном мире «легенды», и в обычном мире: своих слушателей (читателей). Ремизов неоднократно писал об этом эффекте двойного присутствия: «Выбор материала — встреча на словесной земле и спуск под землю, — попалась легенда, я читаю и вдруг вспомнил: я принимал участие в сказочном событии. И начинаю по-своему рассказывать».¹³ Личная «сопричастность» автора проявляется зачастую в том, что Ремизов наделяет рассказчика, а иногда и некоторых героев, чертами своего внешнего облика и биографии. Такие черты есть в образах Саввы Грудцына, Стефанита и Ихнелата, старых королей в повести «Бова Королевич», дядек-наставников в «Брунцвиге» и «Тристане и Исольде», строителя Хирама в «Соломоне и Китоврасе», Мелюзины. С помощью этого художественного приема писатель, прежде всего, усиливает, актуализирует трагическое звучание старого текста. Так в предисловии к книге «Бесноватые: Савва Грудцын и Соломония» Ремизов отмечает свою внутрен-

лат. Париж, 1950, 62 с.; 6) Круг счастья: Легенды о царе Соломоне. Париж, 1957, 80 с.; 7) О Петре и Февронии Муромских. — ТОДРЛ, 1971, т. XXVI, с. 164—176. Далее ссылки на эти издания даются в тексте.

⁸ Кроме указанных работ Д. С. Лихачева, Р. П. Дмитриевой, Я. С. Лурье см.: Грачева А. М. 1) Повесть А. М. Ремизова «Савва Грудцын» и ее древнерусский прототип. — ТОДРЛ, 1979, т. XXXIII, с. 388—400; 2) «Повесть о Бове Королевиче» в обработке А. М. Ремизова. — ТОДРЛ, 1981, т. XXXVI, с. 216—222.

⁹ Приношу благодарность Н. С. Демковой и Л. А. Иезуитовой за помощь при работе над этой темой.

¹⁰ Ремизов А. Письмо в редакцию. 29-го августа 1909 г. — Золотое Руно, 1909, № 7—9, с. 145—148.

¹¹ Биржевые ведомости, 1909, 16 июня, веч. вып., № 11160.

¹² Ремизов А. Письмо в редакцию, с. 146.

¹³ Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959, с. 132.

ную близость героям: «Изаустный рассказ о зверях (Стефаните и Ихнелате, — А. Г.) и о бесноватых меня поразил: я ровно б вспомнил о чем-то, чему был свидетель, а возможно, и действующее лицо... Или в закованных моих силах и Ихнелат и Грудцын?» (с. 8—9). Однако вносимое в образ рассказчика и героя сходство с Ремизовым во многих случаях создает и комический эффект. Так реализуется Ремизовым один из принципов свойственного народным рассказчикам смеха над самими собой, напоминающего смех Аввакума — писателя, оказавшего огромное влияние на стиль Ремизова. Как отметил Д. С. Лихачев, смех Аввакума «... над своими злоключениями, примиряющий смех над своими врагами, соединяющийся с жалостью к ним, как будто бы именно они — его мучители — были на самом деле настоящими мучениками. Это типичный для средневековой смех над самими собой...»¹⁴ В повестях Ремизова это смех «валяющего дурака», смех над своими неурядицами, физическими недостатками, немощами и т. д. Например, в «Бове Королевиче» «Маркобрун сулил большую награду, кто приведет ему на цепи неверного пса: поимщику была обещана небольшая светлая комната, за отопление и электричество платить не надо и всякий день обед из одного блюда и, тоже даром, газ и стирка без просушки и без глажения, по воскресеньям две баранки — а на такое, по себе скажу, кто не позарится: кури и лодырничай» (с. 118).

Событие, которое описывает рассказчик, принадлежит сразу двум временам: давно минувшему прошлому и современности. Ремизов вносит в пересказы древнерусских произведений бытовые реалии XX века, органично включает в число участников и очевидцев сказочных событий не только себя, но и своих друзей, знакомых. Так в «Бове Королевиче» к большому королю Зензеве вызывают доктора Зернова (лечащего врача писателя), а душеприказчиком воспитателя Бовы становится знакомый Ремизова Солицев. Свидетелями происходящего писатель делает часто и тех, кто фиксировал это событие на протяжении веков — переписчиков, редакторов, переводчиков древнего текста. В повести «Мелюзина» гостями замка Мелюзины, своими глазами увидевшими конец чудесной и трагической истории, стали автор хроники графов Лузиньян Жан Дарас (XIV век) и переводчики этой повести на немецкий, польский и русский языки Туринг фон Рингелтинген (XV век), Мартын Сенник (XVII век) и дьяк Иван Руданский (XVII век).

¹⁴ Лихачев Д. С. Юмор протопопа Аввакума. — В кн.: Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984, с. 61.

В итоге создается особый мир ремизовских повестей — фантастический и одновременно необыкновенно реальный, в котором прошлое не противопоставляется, а приравняется к настоящему, т. е. представляет собой мифологическое прошлое.

По мысли Ремизова, в процессе целостной фиксации «народного мифа» в устной или письменной традиции неизбежно возникали искажения «подлинного» смысла когда-то случившегося. Например, в примечании к повести «Соломония» писатель отметил не удовлетворяющие его особенности текста-источника: «Поп Иаков держался „древнего благочестия“, но дара любви протопопа Аввакума к „природному русскому языку“ не имел и повесть о чуде исцеления бесноватой, насколько это было возможно, — уж очень материал-то живой, никаким высоким книжным словом невыговариваемый, — написал книжно и довольно-таки путанно» (с. 91). Задачей писателя было исправление этих «искажений»: переосмысление и переработка текста-источника.

Обычно Ремизов многое изменял в сюжете древнерусского произведения. Он разворачивал именно те сюжетные линии, которые были только намечены в источнике, вводил новые сюжетные повороты. Например, в повести «Савва Грудцын» Ремизов развил мотив любви Саввы к жене купца Божена, превратив один из эпизодов средневековой повести в сюжетный стержень своего произведения. Кульминацией в развитии сюжета этой повести стал введенный писателем новый эпизод — убийство Саввой своей возлюбленной, которой переданы и все функции Богоматери, спасающей героя от власти бесов. Писатель вносил в текст психологические мотивировки поступков героев. Так в повести из цикла «Круг счастья» «Царь Соломон и Красный царь Пор» переосмыслена причина бегства царицы Милены. В древнерусском источнике она польстилась на жемчужные перчатки и уехала с корабельщиками к царю Пору, а у Ремизова она покинула царя Соломона, узнав о его измене. Характерной чертой ремизовской переработки сюжета является «снятие» счастливых концов в повестях, близких к сказке («Бове Королевиче», «Аполлоне Тирском», «Брунцвиге» и т. д.). Это — также результат усилий писателя по вычлениению трагического в своей первооснове «народного мифа», который, функционируя в виде сказки, приобрел «ложную» благополучную концовку в народной традиции.

Композиция большинства древнерусских повестей Ремизова (это черта поэтики всего его творчества) основана на чередовании слов — лейтмотивов произведения. Ими могут быть и постоянные эпитеты источника (в «Бове Королевиче», «Мелюзине», «Соломонии»), и

те слова источника, особое значение которым придавал сам писатель (например, слова-атрибуты фей и страны блаженных, взятые Ремизовым из ирландских саг и использованные в повести «Тристан и Исольда»), и, наконец, слова, включенные в текст самим автором. В большинстве произведений Ремизов применяет не один, а сразу несколько способов образования лейтмотивных слов для создания сложного музыкального ритма повествования. Так, например, в повести «Савва Грудцын» авторская концепция раскрывается через сложное переплетение значимых слов, как бы ведущих отдельные темы произведения: «кровь», «душа», «царевич», «бес», «воля», «любовь», «самозванец», «дух», «прозрачность». Переплетающиеся лейтмотивы образуют основу композиции повести, обозначают динамику развития отдельных тем. Цепочки лейтмотивных слов, пересекаясь, организуют и каждую часть повествования, и художественную структуру целого произведения. В «Савве Грудцыне»: I часть: «любовь» — «воля» — «неволя»; II часть: «неволя» — «воля» — «бес» — «царевич»; III часть: «царевич» — «бес» — «неволя»; IV часть: «неволя» — «прозрачность» — «любовь».

Ремизов всегда называет конкретный источник своей переработки, так как древнерусское произведение является для него не только основой пересказа, но и объектом полемики — якобы неверным отражением «истинного» события. В предисловии к «Савве Грудцыну» Ремизов указывает «новейшие исследования о Грудцыне» (с. 9): М. О. Скрипиль. Савва Грудцын. — ТОДРЛ, т. V, М.; Л., 1947. В повести «Соломон и Китоврас» такими источниками стали издания текста в книгах: Н. С. Тихонравов. Памятники отреченной русской литературы. СПб., 1863, т. I; Памятники старинной русской литературы, изд. Г. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1862, вып. III. Подобные указания на труды исследователей и научные своды вариантов текста сопровождают все ремизовские переработки. Но писатель почти всегда вступает в скрытый спор с текстами-источниками и с посвященными им научными исследованиями. Одним из способов полемики является «переоценка» Ремизовым целого ряда героев, которые, по его мнению, представлены в древнерусских произведениях в ложном свете. Характерным примером служит оправдание в «Савве Грудцыне» боярина Шеина: «Будут потом говорить: боярин позавидовал Савве. И потом назовут Шеина „изменник“ и казнят на Москве. Нет, в Смуту воевода Смоленска показал, что значит любить Россию, и причём зависть и о какой измене» (с. 47). В повести «Бова Королевич» Ремизов переосмысливает образ матери Бовы, «искаженный» при письменной фиксации когда-то случившихся событий. Об-

ращаясь к своей героине, он пишет: «Прекрасная королева Брандория, ты слышишь? А про это ты чужешь: злая молва — суд народа — назовет тебя позорным именем Милитриса (mérétrice)» (с. 81). Целям полемики с «ложными» источниками служат вводимые в текст повестей «слухи». Р. П. Дмитриева отмечала, что в повести Ремизова «О Петре и Февронии Муромских» «перечисленные... варианты о происхождении названия Агрикова меча даны как припоминания старожил... Любопытно то, что эти дополнения были внесены А. М. Ремизовым на основании его знакомства со статьей М. О. Скрипиля „Повесть о Петре и Февронии Муромских“ в ее отношении к русской сказке“».¹⁵ Ремизов часто делает подобную сводку многих вариантов, по-разному изображающих героев, события, отдельные реалии, и сопровождает их ремарками «вспоминали», «сказали», «по рассказу не менее правдоподобному» и т. д. Перечислив эти неверные, с его точки зрения, толкования, писатель дает свой вариант, воскрешающий «народный миф». Так, в повести «Бова Королевич» он приводит три концовки истории героя. Две из них соответствуют окончаниям двух использованных им древнерусских списков повести. Третья, сопровождаемая пометой «то, что есть», — это вариант, придуманный самим Ремизовым. Писатель вступает в скрытую полемику и с «неверными» интерпретациями героев и событий, внесенными в тексты их древнерусскими переписчиками.

В большинстве повестей-пересказов образ главного героя является вариантом одного и того же литературного типа. Для понимания его художественной природы существенно то, что Ремизов как писатель сформировался под сильным философским и эстетическим воздействием культуры русского символизма начала XX века. Его главный герой возникает как результат лирического самовыражения автора. Это — человек-художник, натуре которого присуще стихийное начало. Он одновременно и познает мир, и творчески преобразует его, постигая таким образом сущностную сторону бытия. Многие центральные персонажи повестей Ремизова «мудры», и часто эта мудрость является причиной трагичности их судьбы, приводит к тяжким испытаниям (таковы дева Феврония, царь Соломон, Мелюзина, Стефанит и Ихзелат). Например, мать велит убить своего сына — царя Соломона, так как пугается его мудрости. Бояре ненавидят Февронию и требуют изгнать ее из Муром, говоря: «Мудрствовать над нашими женами не позволим» (с. 173). При этом Ремизов стремится разрушить представленное об-

¹⁵ Дмитриева Р. П. Указ. соч., с. 162.

эпическом спокойствии достигших все героев. Р. П. Дмитриева отметила в связи с анализом работы писателя над образом Февронии: «Тихая Феврония древнерусской повести А. М. Ремизову не по душе, он ее отвергает... А. М. Ремизов жаловался на трудности по созданию облика Февронии, который ему хотелось донести до читателя: „Мне не нравится моя Феврония, в ней я не слышу визга боли, она «мудрая», а значит спокойная, а ведь мне надо, чтобы человек от тоски загрыз землю, это мое. У Февронии есть гнев и магия...“¹⁶ Другой чертой характера главных героев повестей Ремизова является их жажда знания, тяга к открытию тайн мира. Так, Брунцвиг, который «правил королевством разумно и честно в совете старшин и рыцарей» (с. 51), страстно мечтает о путешествиях и приключениях в чудесных странах и уезжает из дома, хотя это ломает его счастливую жизнь. В трактовке Ремизова царь Соломон — это человек, все время рискующий потерять царство, любимую жену и свою жизнь ради познания чего-то неведомого.

Многие герои Ремизова постигают мир при помощи книг. Исток этой черты также надо искать в биографии самого писателя. Ремизов всегда сообщает, какие книги читает его герой. Так, в «Савве Грудцыне» сразу же говорится, что «товарищей у Саввы не было, да и где было такому сыскать ровню? И только книга... „Великие Четыи мирие“, с них Савва начал свою науку. А за подвигами и чудесами святых мучеников подвиги царей: „Александрия“, деяния Двурогого царя; „Книга Синагрипа, царя Адоров Наливские страны“ — притчи премудрого Акира; „Римские дей“ — „великое зеркало жития человеческого“, романо-византийские и восточные рассказы с нравочениями, источник Шекспира; „История семи мудрецов“ Синдаба Намэ, матерьял для Боккачио; „Сказания о премудром царе Соломоне“; „Повесть о Варлааме пустыннике и Иосифе царевиче индийском“ («Книга Билаухара и Будасфа») и любимое „Стефанит и Ихнелат“ о зверях; Хронограф и Физиолог — история и чудесное природы. „И все, что он добыл глазами, воспринял слухом, удержало сердце, закрепила память, вобрал в ум и волю“» (с. 11). Савва, Соломония, Брунцвиг, Раймонд, Бова, Тристан, Стефанит, Ихнелат — мечтатели, книжники, живущие в мире книг или рассказов своих воспитателей, которым отводится важная роль в повествовании. Это — наставники и рассказчики чудесных историй: Синбалда («Бова Королевич»), Говерналь («Тристан и Исольда»), Балад («Брунцвиг»), Эмери («Мелюзина»). Для Реми-

зова важен тот литературный пласт, на который ориентируется его повествование: демократические повести XVII века в «Савве Грудцыне», жития в «Соломонии», ирландские саги в «Тристане и Исольде» и т. д. Зачастую соотносение изображаемых событий с подчеркнuto-литературным планом функционально заменяет сопоставленность повествования в источниках (древнерусских повестях) с планом мировоззренчески-понятийным.

Как правило, этот «ненастоящий», придуманный и вычитанный мир книг и сказок вдруг оживает, герои-мечтатели вовлекаются в круг стремительных и трагических событий. Главные в повестях Ремизова — темы любви и судьбы. В художественном мировоззрении писателя, продолжающего традиции русской литературы XIX века, и прежде всего Ф. М. Достоевского, любовь — великая жизнеутверждающая сила, способная спасти человека и весь мир от нравственного «пропада». Переделывая «Савву Грудцына», Ремизов концентрирует внимание читателя на причине, побудившей героя продать душу дьяволу, — его одержимости страстью. Ремизовский текст расписки, данной Саввой бесу, включает в себя точную цитату из источника («отречися Христа истинного бога») и добавление («ради моей любви» — с. 25), переставляющее акцент в этой сцене: с отречения Саввы на силу его любви. Савва и Степанида губят свое чувство, совершая насилие над волей друг друга (Степанида пытается приворожить Савву волшебным зельем; Савва продает душу дьяволу, чтобы вернуть любовь Степаниды). Трагическая «игра судьбы» разрушает их счастье.

Те герои повестей Ремизова, чья любовь по своей природе реальна (Савва, Бова, Брунцвиг, царь Соломон, Аполлон Тирский, царь Аггей), стремятся скорее вырваться из чудесного мира, который может стать и «иницием», бесовским, как в «Савве Грудцыне» и «Соломонии». Другие (Тристан, Раймонд), чьи любовь и счастье возможны только в этом чудесном мире (например, Тристан может быть вместе с Исольдой только в пределах волшебных островов их сна-путешествия; Раймонд счастлив только тогда, когда он живет с феей Мелюзиной в созданном ею сказочном пространстве), мечтают остаться в нем навсегда, даже если их уход в этот мир — смерть.

В основе каждой из ремизовских переделок древнерусских произведений лежит представление о трагизме человеческой судьбы. Если герои хотя бы вырываются из мира чудесного в мир реальный, то в момент их «счастливого» возвращения этот реальный мир печально из-

¹⁶ Там же, с. 160—161.

¹⁷ Скрипиль М. О. Повесть о Савве Грудцыне. — ТОДРЛ, 1947, т. V, с. 240.

меняется. Ремизов часто пользуется художественным приемом внезапного «переключения» сказочного времени, в котором персонажи не стареют и не меняются, на время бытовое. Герой, пройдя через все препятствия, возвращается в свое царство и обнаруживает, что там время двигалось не по-сказочному. Так, в повести «Бова Королевич» старится и умирает верная подруга Бовы — Друзиана. В ряде случаев в конце приключений сказочный и бытовой планы повествования трагически сталкиваются. В «Аполлоне Тирском» герой наконец-то находит свою жену и дочь, но неожиданно, «от счастья» его жена умирает; Брунцвиг, объехав множество стран, «победителем» приезжает в свое королевство, но оказывается, что долго ожидавшая жена успела его разлюбить и т. д. В несказочных повестях, например в «Савве Грудцыне», герой избавляется от бесовского наваждения, но его любовь — Степанида — умерла. В «Повести о двух зверях» Ихнелат, идущий от преступления к преступлению, хочет вернуться к началу, зачеркнуть все совершенное, но время необратимо. Если счастье героев, наоборот, зависит от сохранения их пребывания в чудесном мире, то судьба их также оказывается трагичной. Так, Раймонд в «Мелюзине» нарушает сказочный запрет, и волшебный мир уходит от него. Высыхает источник, исчезает фея Мелюзина, и трагизм заключается, как пишет Ремизов, в том, что «Раймонду некуда было возвращаться» (с. 14). Или герой (Тристан) навсегда уходит в страну грез, где он был счастлив, но это последнее «возвращение» — смерть.

Во всех повестях Ремизов развивал органичную и для древней, и для новой русской литературы идею нравственного совершенствования героя. В годы работы над «Саввой Грудцыным» писатель внимательно и многократно читал произведения Достоевского, поэтому не случайны четкие параллели между романом «Бесы» и повестью Ремизова. Линия Саввы Грудцына («Клима-царевича», «самозванца») и его спутника — беса Виктора Тайных имеет точки сопоставления с линией Николая Ставрогина («Принца Гарри», «Ивана-царевича», грядущего «самозванца») и его «беса» Петра Верховянского. Ремизов в предисловии к повести писал: «Достоевский последний у кого выступает „чорт“ (Братья Карамазовы) и имя „бесы“». После Достоевского все бесы описанные Гоголем разошлись по своим берлогам, посмеиваясь над кичливым жалким человеком, который все свои человеческие мерзости валил с больной головы на здоровую. В наше время человек действует за свой страх и сам за себя отвечает — веселая картинка! — и в литературе о бесах нет речи» (с. 9). Для Ремизова, как и для Достоевского, «бе-

сы» — это люди, свободные от моральных запретов, способные на убийство и преступление. Бес Виктор Тайных — персонификация того дурного, что есть в самом Савве. Однако Савва — не настоящий «царевич» (сверхчеловек), стоящий над «дураками», а лишь «самозванец», постоянно в глубине души неудовлетворенный своим бесовством. Его встреча с Семой Юродивым — Семеном Летопроводцем — это начало пробуждения совести, памяти о совершенном преступлении (Савва убил Степаниду, продал свою душу бесу в день Семена Летопроводца). Исповедь героя, представляющая собой сплошной поток слов без знаков препинания, — это внутренний нравственный суд Саввы над самим собой и, одновременно, его разговор с убитой им возлюбленной: «...если бы ты знала если бы ты поняла до самой глубины твоего сердца почувствовала как я любил и как люблю тебя и такую любовь нет закона можно или никакая власти запретить или позволить» (с. 52). Приговор совести героя таков: он никогда не простит себе свершенного, но его единственная надежда — вера в безграничное могущество любви, которая одна может оправдать и спасти его. В повести Ремизова бес защищает традиционную средневековую точку зрения: спасение души выше мирской любви. Но эта старая мораль сталкивается с новой, утверждающей великую силу человеческого чувства. Ее истинность подчеркнута в повести Ремизова тем, что не Богородица, как в древнерусском источнике, а Степанида спасает Савву от мучащих его бесов и возвращает ему чистый лист бумаги (художественная метафора новой, еще неизвестной судьбы героя).

В повестях Ремизова главные герои поднимаются в своем нравственном развитии на более высокую ступень. Писатель показывает их духовное «прозрение», используя такие понятия древнерусской культуры, как «странничество», «юродство». В финале главные персонажи ремизовских переработок древнерусских произведений, благополучно прошедшие многочисленные испытания и искушения, бросают царство, купеческое богатство и уходят в неизведанное с юродивыми, чернецами, волшебными зверями (например, Савва Грудцын — с юродивым, Бова — с чернецом, царь Аггей — с нищими). Они перестают быть «героями», становясь «странниками». Для писателя важно показать слияние индивидуального «я» персонажа с миром и растворение в нем (эта черта идет из древнерусской литературы). Значимость для Ремизова этой идеи становится очевидной при сравнении концовок «Царя Аггея» (1917) и «Бовы Королевича» (1952). «Царь Аггей»: «И пошел Аггей из дворца на волю к своим странным братьям. И когда проходил он

по темным улицам к заставе, разбойники, зарясь на его мешок, убили его. Искали золота — и ничего не нашли» (с. 150). «Бова Королевич»: «Бова пропал. Имя его перешло в сказку. А по святой земле бродит странник не Бова, а Ангусей. А кончилось как-нибудь очень просто — судьба бродяг: тот же чернец, позарясь, подавния выпало больше, лишняя корка — сонного уколошид, что звучит как упокоил» (с. 137).

Ремизов не только «психологизирует», углубляет образы главных героев повестей, но фактически уничтожает «служебные фигуры» источников, делая их живыми и неоднозначными. Остановимся на двух типах персонажей, неоднократно встречающихся в ремизовских произведениях. Один из них — это рационалист, человек, который не видит фей, не совершает чудесных подвигов и озабочен завоеванием не волшебных островов, а власти в том «реальном» королевстве, которое покидает главный герой — мечтатель. Таков в «Бове Королевиче» брат царя Додола — Дан-Альбрига, в «Тристане и Исольде» — это другой племянник короля Марка — Апдрет. Эти персонажи, возникшие на основе переосмысления писателем «служебных фигур» древнерусской повести, воплощают то, что более всего ненавидел Ремизов — бездушный и безнравственный практицизм, мертвенность чувств. Подобные «реалистически» мыслящие герои более страшны в его повестях, чем всевозможные бесы и черти. Изображение последних занимает важное место во многих произведениях писателя. «Черт» воспринимался многими современниками Ремизова как один из характернейших образов его творчества. Не случайно М. М. Пришвин записал в своем дневнике: «Так я стал... „известным“ этнографом. И с тех пор это слово пристало ко мне, как черт к Ремизову».¹⁸ А сам Ремизов в наполненном многочисленными автобиографическими аллюзиями рассказе «На птичьих правах» (1915) охарактеризовал себя следующим образом: «...Литератор Зерефер (псевдоним) (Зерефер — имя беса в одной из древнерусских повестей, — А. Г.), нашедший свою линию в чертовщине, ибо, как и сам он признавался, описание чертячьих деяний ему ни по чем давалось...».¹⁹ Фигура черта (беса), необычайно популярная в фольклоре и древней книжности, изображалась Ремизовым в соответствии с традицией. В ряде произведений писателя черти являлись воплощением зла и страстей героев. В «Савве Грудцыне» и «Соломо-

нии» бесы — это страшные слуги дьявола, изображенные согласно христианскому канону. Но значительно чаще образ черта у Ремизова проецируется на народные представления об этом фольклорном персонаже, которые отразились в легендах, быличках и особенно в сказках. По замечанию А. Н. Афанасьева, чьи труды Ремизов старательно изучал, «в большей части народных русских сказок, в которых выводится на сцену нечистый дух, преобладает шутливо-сатирический тон».²⁰ Там, где Ремизов сам вводит в свои повести образ черта, это всегда герой, напоминающий персонаж сказки — насмешник, готовый на всяческие проказы, вечно попадающий в смешные и нелепые положения.

Из анализа ремизовских повестей видно, что писатель превращал памятники XIII, XVI или XVII веков в произведения, близкие и понятные современному читателю. Но неправильно было бы говорить о том, что они становились такими только из-за мастерской модернизации их Ремизовым. Для него глубоко принципиальным был вопрос, какое именно древнерусское произведение ляжет в основу пересказа. Он обрабатывал памятники древнерусской беллетристики, выдающиеся по своим художественным достоинствам, поднимавшие «вечные», существенные и для нового времени проблемы добра и зла, совести, любви.

Многие русские писатели (Радищев, Кюхельбекер, Рылеев, Бестужев-Марлинский, Лесков, Достоевский, Толстой, Гаршин и др.) обращались к древнерусским повестям и легендам, но никто до Ремизова не обнажал с такой беспощадной открытостью приемов своей работы. В начале или в конце книги он всегда давал точный список источников. Ремизовский метод обработки исходного материала включал в себя тончайшую стилистическую и смысловую переработку текста; точное скрытое и открытое цитирование, сопровождаемое авторскими ремарками; включение отрывков из других древнерусских произведений; введение собственно ремизовского текста. Парадоксально то, что именно этот новый способ работы со средневековой литературой и фольклором вызывал обвинения писателя в плагиате и краже чужих сюжетов. Это было результатом непонимания особого, теоретически обоснованного отношения Ремизова к проблеме писательского самосознания. Он противопоставлял понятию индивидуального авторства нового времени, включающему в себя представление об авторской собственности на произведение, понятие коллективного и анонимного авторства в фольклоре и древней литературе. Ремизов писал: «Ставя своей задачей вос-

¹⁸ Пришвин М. М. Записи о творчестве. — В кн.: Контекст. 1974: Литературно-теоретические исследования. М., 1976, с. 319.

¹⁹ Ремизов А. Среди мурья. М., 1917, с. 51.

²⁰ Афанасьев А. Н. Русские народные легенды. Лондон, 1859, с. 168.

создание нашего народного мифа, выполнить которую в состоянии лишь коллективное преемственное творчество не одного, а ряда поколений, я, кладя мой, может быть, один единственный камень для создания будущего большого произведения, которое даст целое царство народного мифа, считаю своим долгом, не держась традиции нашей литературы, вводить примечания и раскрывать в них ход моей работы. Может быть равный или те, кто сильнее и одареннее меня, пытая и пользуясь моими указаниями, уже с меньшей тратой сил принесут и не один, а десять камней и положат их выше моего и ближе к венцу. Только так... может открыться выход к плодотворной значительной работе из одичалого и мучительно-одинокого творчества, пробавляющегося без истории, как попало, своими средствами из себя».²¹ В своих пересказах средневековых повестей Ремизов как бы восстанавливал метод работы древнего книжника. Он переделывал уже существующие сказки, апокрифы, повести, но ставил под ними свою фамилию, так как создавал свою «последнюю редакцию» известных произведений. Не современные понятия «пересказ», «обработка», «реконструкция», а применяемое к труду древнего книжника понятие «редакция» приложимо к произведениям Ремизова, основанным на древнерусских источниках. Анализ этого пласта творчества Ремизова показал, что на вопрос, поставленный Д. С. Лихачевым, «можно ли считать редакциями переработки повести о Бове, повести о Фроле Скобееве, о Шемякинном суде (например, Артынова) или переработку „Сказания о начале Москвы“, сделанную А. Сумароковым, переработку повести о Савве Грудцыне, сделанную А. Ремизовым, и т. д.»²² в отношении произведений Ремизова можно ответить утвердительно.

²¹ Ремизов А. Письмо в редакцию, с. 147.

²² Лихачев Д. С. Текстология: На материале русской литературы X—XVII веков. 2-е изд. Л., 1983, с. 138.

Ремизова следует сопоставлять по типу писательского самосознания не с писателями-стилизаторами начала XX века, а с древнерусскими книжниками. Сам писатель неоднократно отождествлял себя с писателями средневекового типа творчества, а среди литературных учителей на первое место ставил протопопа Аввакума. Стиль, художественные особенности «Жития» Аввакума нашли отражение в произведениях Ремизова. В конце жизни писатель создал целые страницы фантастических «воспоминаний» о себе как о московском книгописце, осуждаемом Максимом Греком за переписку «басен», как о наборщике Ивана Федорова, как о справщике Печатного Двора — приятеле протопопа Аввакума. Вот пример подобного «воспоминания», в котором сливаются воедино герой и автор: «Я московский рядовой книгописец, имя мое в писцах не громко, я простой человек, не „Еркул“, как мы все величали Ивана Александровича Рязановского, костромского книгописца и грамматика. Пишу я вороньим пером, павье не по карману, люблю украсить рамкой мою рукопись, подрисовать глаза и уши в геометрические фигуры — в переплет полей, киноварью выделить букву... Переписывал я на заказ, да и так, для души... индейскую повесть на языке зверей и птиц: „Стефанит и Ихнелат“, „Трепетник“ иерограмматика Гермеса и Меланпода Александрийского, Громник, Колядник, Мартолог, Царевысноудцы, Ухозвон, Мысленник, Естественник (Физиолог), Звездосказание, Метание, приметы, гаданья и апокрифы».²³

Ремизовские повести не только являются яркими художественными произведениями, но и помогают глубже понять их древнерусские источники. Все творчество Ремизова находится под огромным влиянием древнерусской литературы, оказавшей в большей или меньшей степени воздействие на многих писателей начала XX века.

²³ Ремизов А. Пляшущий демон. Париж, 1949, с. 65—68.

САВВА ГРУДЦЫН *

Великий Устюг, в старину Гледень. Сосед его Сольвычегодск. В Соли вычегодской Строгановы: у Строгановых Сибирь, глаз на Китай. В Устюге Грудцыны: у Грудцыных Кама и Волга, глаз на Персию. Русские глаза за московский рубеж, имена громкие.

Великий Устюг город Прокопия, во Христе юродивого, на площади златоглавыи собор Рождество Богородицы и белые палаты Фомы Грудцына Усовых. У Фомы сын Савва, о нем рассказ.

I

Савва единственный и желанный, любовь и надежда у отца и матери. Товарищей у Саввы не было, да и где было такому сыскать ровню? И только книга. А книг у отца стена до стрехи: книги духовные и мирские.

«Великие Четыи минеи», с них Савва начал свою науку. А за подвигами и чудесами святых мучеников подвиги царей: «Александрия», деяния Двурогого царя; «Книга Синагрипа, царя Адоров Наливские страны» — притчи премудрого Акира; «Римские деи» — «великое зеркало жития человеческого», романо-византийские и восточные рассказы с нравочениями, источник Шекспира; «История семи мудрецов» Синдбада Намэ, матерьял для Боккачио; «Сказанья о премудром царе Соломоне»; «Повесть о Варлааме пустыннике и Иосифе царевиче индийском» («Книга Билаухара и Будасфа») и любимое «Стефанит и Ихнелат» о зверях; Хронограф и Физиолог — история и чудесное природы.

«И все, что он добыл глазами, воспринял слухом, удержало сердце, закрепила память, вобрав в ум и волю».

Так арабским словом «Калилы и Димны» сказывалось о Савве, а по-русски сказать: «научен книгой вос».

Савва, читая, пристрастился переписывать книги: трудное легче понимается и темное яснее. И достиг большого совершенства в буквенном искусстве. На именины отца и матери подарок Саввино письмо в узорчатом оплете тонкими елочками и папортниками устюжского мороза, на Фому и Елену.

А переписывая себе из книг, Савва

буквы не держался, а все по-своему, и толк и в ладе: рано раскрылись его внешние и его внутренние глаза. «Мудрствует», говорили про него начетчики с Вологды и Костромы и ярославские. Ни отец, ни мать не останавливали, не пугали «богоотступником и еретиком», а радовались и умилялись: единственный!

Время было опасное, смута взвихрила Русь: своя на свои, казаки и наброжий лях, бояры и смерд, все, кому не лень, мутили землю, разоряли города, и шаталась уложенная Стоглавом жизнь. Повсеместно обнаруживались «царевичи» и всякий вор зарился быть царем па Москве. Настушило лихолетье.

Не казна, а уберечь и спасти сына, вот зачем Фома оставил Устюг и со всей семьей перебрался в Казань: там будет тише. И покамест не укачается, пять лет прожил в Казани. А как по выгоне с Кремля поляков избрали царя, Михаил Федорович Романов, и под царем поднялась из пропада непропадная Русь, русская над «прямыми» и «кривыми», предав забвению попутный грех Смуты, мать Саввы Олена вернулась в Устюг, а Фома взялся за прерванное дело Грудцыных.

2

На стругах с товарами плывет Фома по Волге: путь ему до Астрахани, а из Астрахани в Шахову область. На душе заботно, а и весело: будет где развернуться — столько лет без дела сиднем в Казани, зачахнешь и омшеешь. А Савву нарядил Фома в Соликамск: Савве девятнадцать, пора навывкать торговле. А на будущее лето, даст Бог, вместе к кизильбашам: и людей посмотреть и себя показать; сам Фома не наглядится на сына, пусть будет и всем в глаза: «царевич»!

«Благословил Бога, не жалуюсь, этакый и Персию под Москву поставит!»

На отцовских судах Савва не доплыл до Соликамска, а стал у усольского города в Орле. Тут и товары выгрузил и склад нанял и торговлю открыл.

Обосновался он в гостинице у Колпакова. Гостинник знакомый Фомы принял его сына с почетом и в делах помогает: не легко было Савве от книг к торговым счетам переходить.

А жил в Орле богатый купец, по богатству в городе первый, старинный друг Фомы Божен Второй — имя знатное и за казну и за примерную жизнь: справедлив и крепок в вере, «прямой» и мозги не набекрень. А прослышал Божен, сын Фомы в их городе гость.

* Текст публикуется по изданию: Ремизов А. Бесноватые: Савва Грудцын и Соломония. Париж, 1951, с. 10—63. В ряде случаев автор сознательно отступает от нормативной орфографии и пунктуации, добиваясь особой эвфонии и ритмики своей прозы. При публикации исправлены только типографские опечатки.

А какая дружба и много лет связывала его с отцом Саввы: вместе навывкли путь итти, выручали друг друга.

«Возьму-как я Савву в дом к себе, порешил Божен, будет мне за сына».

И как Савва вышел со склада и идет к себе в гостиницу, а на встречу ему Божен. По отцу узнал его Божен:

«Грудцын!»

И как обрадовался. И за расспросы: отец, мать, Казань и Устюг, и как попал в Орел и надолго ль?

«И тебе не грех, с упреком сказал Божен, твой отец, крестами менялись, названный мне брат, чай слышал, Божен Второй? И ты до сей поры не зашел ко мне! Думать забудь, к Колпакову не отлучу, будешь у меня в доме заместо родной сын».

Обрадовался и Савва: в семье не гостиница.

И в тот же день, распростившись с Колпаковым, переехал Савва на житье к Божену.

* * *

Божен третьим браком, нынче после Святка играли свадьбу, пир в статью воеводе.

Божен по своему имени набожный, усерднее молещика разве что Колпаков, строго посты держал, а и куда расчелливый, постороннему глазу веры не даст ничо чем, верил в хозяйский. И жезну он взял для хозяйства: в чистоте дом держать и чтобы все во время и не воровали б.

Степанида родственница Савве. Осталась она с матерью после смерти отца старшая сестра над сестрами и братьями, семья большая. И если удавалось доставать чего и кое-как уладить жизнь и была еще надежда, всегда и во всем выручала Степанида. На Степаниду любобались и всякий хотел угодить ей. Вот что правда, то правда: придет в мир человек мирить мир и радовать.

Божен нос не воровей, губа не дура, знал себе кого выбрать. А что ему шестнадцать Степаниде или двадцать, дело не в годах, другой Степаниды ни на Оке, ни на Каме, оплыви всю Волгу, не найдешь.

О ту пору сложена бойкая притча «О старом муже и молодой девиче», не книжный сказ, а пз жизни. Грамотные списывали и читали да не на ухо, а в голос: «хорошо!» Неграмотные слушали и посмеивались: «правильно!»

И как сказывала притча, так все и было.

Мать Степаниды вздохнула: в доме ясные дни, светит солнце: старый зять не поскупился, озолотил за Степаниду.

На Пасхальной заутрене как христосоваться, мать вся в слезах от счастья — дождалась-таки радостной Пасхи! — подошла к своей в золото окованной дочери. Нет, больше нет на земле и только ее Степанида, полевая она, сама

весна-красна. И с какой сияющей верой мать похристосовалась. И потом вкравчиво:

«Доня, дочушка, как вы живете?»

Степанида на мать посмотрела, сколько вспыха любви в этом карем бездонном взгляде! — горло ее горячо налилось, воркующей голубь! — и со вздохом вырвалось:

«Воли хочу!»

Мать поняла, не сказала, как бы сказалось затверженное исконокь: «побойся Бога, вы ведь в церкви венчаны!» Мать поняла от своего простого сердца, что не церковью крепка и нерасторжима любовь, а любовью крепок весь мир и освещена земля. И прощаясь, она повторила свое, всепрощающее, любовь матери:

«Доня, дочушка моя!»

И вот Божен сам приводит в дом Савву, значит, судьба.

3

Как у разлученных встреча, вспыхнула любовь с первого глаза: его потянуло к ней и прикосновение пронзило его, а она приняла.

И в первую свою ночь у Божена в доме, Савва не завел глаз, «не могу привыкнуть к новому месту», так объяснялось, он думал о ней; и Степанида не спала всю ночь, «лампадка мешает», все ее мысли были о нем.

С первых дней полюбился Божену Савва. Божену казалось, тяжесть годов с его плеч упала, Фома не Савва, под его кровлей, и свежей молодостью веет. И чувствует Божен, как хорошо и как полно в доме и его молодая хозяйка еще краше, точно он ее в первый раз заметил.

Савва принес в их дом счастье!

Ночью, когда Божен спал: довольство принесло ему безмятежный сон, а Степанида притворилась спит: любовь бессонна, как и не зябка; в затихший настороженный час, легко поднялась она и прошла в комнату к Савве.

Савва у окна — в весеннюю ночь. О чем ему и думать, как не о ней, повторял ее слова, не намеренные, а прозвучавшие для него, и голос ее.

И вот она сама. С какой жадностью поцеловала она его всем ртом глубоко. И в этом поцелуе сказаны все слова. Он поднялся и пошел за ней.

В его глазах ее влажные — раскрывшийся цветок — знойные губы и чувствует их в себе, не глядя. А единственное «люблю» бурно распахнуло стены. И стало в мире только двое, а чувство — одно. Его настойчивая воля и нерасторгающаяся ее — безкрылый ведовский полет с подступающей звенящей трелью и кукующей кукушкой.

Не проклятие, небесное благословение — запечатлевающий неразрывный поцелуй.

Божен спит и ему ничего не снится: мирный сон, как ласкающий шопот, не поймешь и ничего не запоминается. Утренняя молитва Степаниды будет крепко: «я счастлива!» И тоже «счастливы» выговорится у Саввы.

* * *

Вознесенье двенадесятый праздник, всеобщая долгая, освещение хлеба, вина и еляя.

Чего-то всегда грустно под Вознесенье, с детства чувствовал Савва: не поется больше «Христос воскрес», радость ушла на небо, весенний первоцвет покинул землю, жди на будущий год.

После всеобщей Божен, не рассяживаясь, на боковую: завтра спозаранку подыматься в церковь. А Савва и не думал: он вспоминает о доме, о отце и матери, и как жили вместе — круглый год Пасха — а судьба, глянть по-своему, и развела: — мать в Устюге, отец в Персии.

В эту ночь Степанида оказалась ему особенная, да и сам он был не всегдашний, она, как цветы цветет, весенние переходили в летние, краска ярче, запах душистее.

Как всегда она поцеловала его, этот поцелуй назывался у них «жемчужиной», но он присел к ней кротко.

«Какой грустный праздник, Вознесенье, сказал он, продолжая свою память о неизбежном, давай лучше завтра!»

Она не ответила. Она сразу соскочила с кровати и, не прощаясь вышла. И первое, что ему бросилось в глаза: на простыне кровь.

«Это вот от чего, подумал он, объясняя себе ее порыв, и успокоился, это скоро пройдет».

Божен едва добудился: звонят к утрине. Не хотелось Савве вставать. На душе было затаенно радостно. «Это пройдет!», повторял он и дорогой и в церкви под пение. И всякое надежное божественное слово переводя на свои, везде только видя ее, слышал о ней. Если бы она знала, как крепка и неразрывна его любовь.

После обедни прикладывались к кресту и воевода пригласил к себе Божену. А узнав что Савва сын Фомы Грудцына, позвал и Савву, почетный гость: имя Грудцыных на Волге и Каме всякому вслух несчетной казной.

Завтрак у воеводы знатный, а главное честь. А ничто так не веселит душу, как признание. Довольный, самоуверенный вернулся от воеводы Божен. А Савва нетерпеливо: соскучился. Тот, кто любит, тот знает, что «разлука» — не часы, не минуты, а совсем незаметный разделяющий миг.

И праздник и такой удачный день, велел Божен Степаниде подать вино: «да покрепче!» крикнул вдогонку. Он не может забыть и все вспоминает прием у воеводы: что воевода сказал и как воевода отличил его перед всеми, а по нем и Савву.

Степанида принесла вино и три чаши. И доверху наполнила ровно: первая мужа, вторую себе, третья гостя.

Божен выпил: доволен: куда там воеводе со своим ренским. Очередь Степаниды. Она взята взяла, но даже не пригубила. И по ее долбному взгляду Божен понял и деловито заметил: «благодарушно». Третья чаша Савве.

Словами не скажешь, а только в песне про такое поется, с какой ревнивой любовью она посмотрела, подавая чашу Савве. И смотрит не отрываясь, сама вином вскипала, пока Савва не выпил до дна свою оковывающую на веки вечные чашу приворотной любви.

И горьким огнем ожгло его. Он почувствовал как на сердце, вдруг впыхнул, горит.

«Много всяких вин у моего отца, но такой крепости я никогда не пивывал».

Шибко вино, а похвала шибче вина: Божен, впадая в хмельное бахвальство, подтрунивал над Саввой: «мелкоплавающий склизок!». И сверх меры удовлетворенный, пошел довершить свое превосходство: «засну-ка!».

Вышла и Степанида по хозяйству.

* * *

В окно глядит закат — кровавая заря. В комнате тише чем ночь.

Савва прислушался: во всем доме он один. А она — где?

И вдруг чувствует, она вся в нем: ее черные вишни глаза, ее красная волчья ягода губы. И рука невольно коснулась ее. И видит, метелицей поднялась она, рот открыт, и шевелятся губы, дышет: «Поймешь ли?». И вьется: заманивает, удаляясь. Савва рванулся. И в ее в чуть внятном дыхе слышит: «Понимаешь ли?». Влажной рукой он снова коснулся ее. И она ему жарко в лицо: «Помнишь?».

Будь это хмель, но и всякое хмельное проходило, а не отпусало. И не отравы, никакой боли.

Он ощущал ее в себе, дотрагивался до нее, как к живой. И в то же самое время она в его глазах — она выюнась дышит, и ее шопот. И под ее «поймешь ли» и «понимаешь ли» он все старался понять, какой это огонь вошел в его кровь с вином? И все припоминал под ее «помнишь», вспоминал последнюю ночь: на простыне кровь.

Так всю ночь. И руку он себе мыл кипятком, не смывается: рука влажная и липкая.

Савва репил: сейчас же все ей рас-

скажу. Он уверен, одно ее слово освободит его от вчерашнего горького хмеля. На утро Степанида не вышла.

* * *

Какой томительный день. Савве казалось, время остановилось, и никогда не дожидаться вечера. Она одна заполняла его, вставая в нем. Слух мутился, в глазах рябит.

А когда все-таки вечер пришел, и Савва вернулся из города домой, его охватил ужас. И если по утрам был выбит, теперь недорезан: Степаниды не было: уехала погостить к родственникам в деревню.

«Пускай себе развлечется, объяснял Божен, на травку запросилась, дитя еще, там у нее подружки».

А Савве без нее и дня не прожить. Думал ли кто когда о недорезанном, что он чувствует? Савва ждет ее в иступлении. Это как жажда, а воды нет. Черная жгучая тоска.

Божен заметил, еще бы:

«О доме тоскуешь?». И похвалил: почитание родителей на том свете зачтется.

Наконец, вернулась Степанида. А было б ей не возвращаться. В тот же самый день к Божену гости. И как во сне: одни прощаются, другие на пороге. Место не простывает.

День и вечер она с гостями, что было ей вовсе не в тягость, а развлеченье. А ночь — какие это были ночи: до зари он ждет.

Неудобно? Или она его испытывала? Но разве не видит? Не верит? Больше любить, я не знаю, как еще любят: она вся в нем с костями, мясом и кровью и воздушная в глазах, трижды живая.

Чего не передумал Савва за эти ночи. А говорил с ней нетерпеливо и, как всегда бывает, не то и не о том. Его не узнать было: глухой, поддонный, не свой голос и правая рука совком и все ее прячет и все осматривается. Знать не доброе что-то на уме.

Божен позвал Савву в свою закутку, не отличишь от часовни. Не посадил и сам стоя. Долго смотрел на образа. Вдруг круто повернулся. Таким его никогда не видел Савва: суровая лунь, глаза сверла.

«Савва, я думал, ты честный человек».

Савва, как проколотый, судорожно протянул руку, убеждая и обороняясь. Но вместо слов только прохрипел. Рука отдернулась и повисла.

«А ты подлец! — и голос у Божена хряснул, верный знак, жди по мордам, — жена мне на тебя жалуется, проходу, говорит, нет, пристаешь и на людях. Да чего ты все прячешь руку, нож что ли затаил? Божен кричал: тебе в моем доме нет больше места!».

Поздний час да все равно, погнали, не задерживайся. Савва так и не простился.

II

Колпаков поражен: почему Савва покинул Божена?

«Голодно у них», сказал Савва.

Но и Колпаков заметил перемену: не от голода такое бывает. Расспрашивать не стал, да пускай себе живет, не с улицы, а Грудцын.

На новом месте, в гостинице, разлученный со Степанидой, Савва начинает свой страдный подвиг — огонь его горести неугасим и сердце тужит: нет ему места ни на земле, ни в днях.

Гостинник и гостинничиха, видя, пропадает человек, пожалели его, но как и чем помочь?

А был в городе Орле волхв: чарованием узнавал о причине скорби и скажет о человеке жить ему или смерть. Беззастенный, глаза насквозь.

Тайно от Саввы Колпаковы решили позвать Комара. И когда проходил Савва по двору, показали на него Комару. Колдун, взглянув на Савву, не раскрыл и свою черную книгу.

«Порченный и конец ему один, и вытянул из кармана веревку: петля. Спутался с женой Божена Степанидой. И подумав: ее кровь в нем играет, а кровь неизбежна».

Колпаковы не поверили: как это возможно, Савва примерный сын богатых родителей и польстился б на чужую жену. А Божен всякому в пример благочестием не мог допустить, жена б его позарилась на юношу и впала с ним в блудное смешение.

«Нет, Комарушка, ты зря это: Божен человек святой жизни».

Колдун даже не пожелал и сплунуть. Колдун получил свое и прощайте.

Надежда спасти чарованием Савву ушла из рук Колпаковых.

А по случаю предпраздничной уборки всякая веревка, и крепкая и струшивый обрывок, из Саввиной комнаты от соблазна прямо в помойную яму.

«Комар зря слова не скажет».

* * *

Завтра Новый год — день Семена Летопроводца, начало осени. А тепло на воле, не отличишь от яблоньего Спаса.

Никогда еще Савва не чувствовал себя кругом одиноко, как в этот новогодний вечер: в первый раз не дома встречает новый год один. Что-то ему судьба предскажет?

Он вышел на улицу и без дороги идет. И не заметил, как очутился за городом в поле.

Пасмурно без дождя, серый вечер переходит в ночь. Ни луны, ни звезд не

видно. Черной лентой по небу тянулись птицы улета.

А он скван: он, как во все дни и ночи, чувствовал всю ее в себе, ее живую теплую тяжесть, и этот ее взвей перед глазами — незаглушаемый, заманчивый, дразнящий шолот.

«Я отдам все и вся, буду до смерти раб, будь то человек или сам дьявол, только б раз еще побыть с ней!», выкрикнулось из самых глубин его отчаявшегося сердца.

Ни впереди и за ним никого. Одно, оттрудившее летний день, мирное поле. И вдруг окликнул кто-то. Оглянулся Савва. И увидел: кто-то спешит к нему и так быстро, ровно на колесиках катит и машет рукой.

«Кому бы это в такой час в поле?», подумал Савва. И когда окликавший подошел совсем близко, Савва сразу заметил, не вор, и как хорошо одет и как приветливо смотрит, а по возрасту сверстник.

«Брат Савва, наконец-то! воскликнул неизвестный. Давно тебя разыскиваю. Мы так похожи. Ты вышел в поле, видишь и я. Ты Грудцын из Устюга, я тоже из Устюга. Я Виктор Тайных, наверно, слышал. Хоть и дальние, а все-таки с-родни. А попал я сюда, в эту дыру, для закупки лошадей, теперь такое время. Как и ты, живу один, ни с кем не вожусь. Здешние не по мне: один дурак набитый, другой просто дурак, вот и вся разница». И Виктор захохотал.

Савва смотрел с удивлением: что-то наглое послышалось ему в этом хохоте.

«Один дурак, как свойственно всем дуракам, продолжал Виктор, чит себя гением, не меньше, другой просто дубина. Да ты их всех отлично знаешь. Мы с тобой одиноки. Будь мне друг, а я тебе с радостью буду во всем помогать».

Савва весь встрепенулся — не чаял встретить родственника, и как все понимает. В самом деле, этих «набитых» и просто «дубин» сколько сам он навидался у Божена.

И об-руку они пошли в ночь.

«Брат Савва, вижу, кручинится. Мне известно, твои хозяева Колпаковы тайком от тебя, звали к себе Комара. Есть тут один ворожей. Комар пугал веревкой, следили б за тобой, не ровен час, удавишься. Да что их хваленый Комар может. А ты выкинь из головы петлю. Поверь мне, я в этих делах побольше чего знаю. Я тебе помогу, но что ты мне дашь?»

Савва не сразу:

«А наперед отгадай мое несчастье, сказал он твердо, тогда я поверю, ты мне поможешь».

Виктор засмеялся:

«Тужись сердцем по Степаниде. Вас разлучила кровь. Могу кровью и соединить вас».

«Не я, она от меня отвернулась».

«Ты чересчур подозрительный: она себя любит больше, чем ты думаешь».

«У меня много товару, сказал Савва, а у отца бесчетная казна. Все отдам, верни ее любовь».

«Да что мне казна, нетерпеливо возразил Виктор, я в тысячу раз богаче всяких Грудцыных и Строгановых вместе. А твои товары мне ни к чему. Мне надо твою подпись и больше ничего: так подписать свое имя, как ты подписываешь, ни один московский дяк не сумеет. Мне твоя подпись и все будет в твоей воле».

«Какие пустяки, подумал Савва: подписываться!». И вздохнул облегченно: ему было приятно, ни товары, ни казна от него не уйдут.

«Я готов, давай где, подпишу».

«Да мне все равно, вырви из своей записной».

Савва бережно выдрал листок из торговой книги. Нашлось у него и перо.

«Нет чернил».

«Пиши кровью. Вот тебе, Виктор подал нож, ткни себя в палец, нож острый».

Они присели у оврага.

Савва укрепил на переплете записной книги листок, и задумался: слова Виктора «пиши кровью» пробудили память: «кровь на простыне». И он почувствовал, как сам он весь налился кровью.

«Кровь покрывается кровью!» загадочно сказал Виктор.

Савва пырнул себя ножом в палец, надавил и подел кровь на перо, приравливаясь расчеркнуться.

«Стой, Виктор тронул его за руку, чай во Христа веруешь?»

«Мы русской веры, как же нам без Христа, истинного Бога!», отозвался по старинному Савва, следя за своим, кровью пузырящимся, пером.

«Но ее ты как любишь?».

«До смерти».

Виктор захохотал:

«Только то, люди! не богато».

«Душу за нее отдам», отчетливо проговорил Савва.

«Так пиши: Ради моей любви»...

— Ради моей любви.

«Отрекаюсь от Христа...»

— От Христа отрекаюсь.

«Истинного Бога...»

— Бога истинного.

Савва писал, и кровь блестела у него на веках, как твердо выводил он букву за буквой. Освежил кровью перо и с завитками и завитьем расчеркнулся: «Савва Грудцын руку приложил».

«Чудесно, царская подпись, похвалил Виктор, любуясь, не подделаешь! И сунул листок себе в карман. Верь мне, все твои желания исполнятся».

И в ответ глубоко вздохнул и улыбнулся Савва: счастье сияло в его улыбке.

«И будем братья, сказал Виктор, дай мне твой крест».

Савва покорно потянулся к ворову снять с шеи крестильный крест. А креста не было. «Забыл, знать, в бане!», лениво подумалось.

«Ну идем, сказал спокойно Виктор, о мелочах не тужи!».

И они пошли в город, два брата.

А была глубокая ночь.

«А я и не спросил тебя, Виктор, где ты живешь? Все дома мне известны, почему я тебя нигде не встречал?»

«Да нигде я не живу, засмеялся Виктор, а захочешь видеть меня ищи на конской площади с цыганами, весь день я там околачиваюсь. Я ж тебе сказал, прехал сюда для покушки лошадей. Да я сам к тебе приду. А завтра смело отправляйся к Божену дому. И как будет Божен по дороге домой возвращаться из церкви, ты увидишь, поверь мне, с какой радостью он встретит тебя».

И они простились. Виктор — «где придется, там и заночует», а Савва к себе в гостиницу.

И в первый раз за столько бессонных ночей в эту новогоднюю ночь Савва крепко заснул. И сон, колыхая, увел его к его мечте — к ней.

* * *

Савва вскочил: звонят к «Достойно», вот как заспался. С новым годом — с новым счастьем. И какой счастливым выдался день: солнце — все сияет. И чувствует Савва, как на его душе спяет, точно он обменялся с кем-то счастливым его счастливейшей душой: ни черноты, ни тревоги, легко.

А вот и Боженов дом. А вот и сам Божен: возвращается из церкви, какое умиление на его лице и весь сияет. Вдруг видит Савву, окликнул. Поздоровались. И каким благодушием прозвучали слова Божена и с отеческим упреком: и почему Савва забыл их и чего такого он, Божен, сделал, какого дурна, Савва покинул их.

«Савва, вернись к нам!»

А в окно Степанида. И как увидела, выбежала на улицу, обняла Савву, засыпала «жемчужинами» — глубоким поцелуем.

«Савва, вернись к нам!»

И так все было хорошо, да лучшего и не бывает: невозвратное вернулось!

Савва не может вспомнить, как он снова попал в гостиницу, как и не спросил себя, почему же он не остался у Божена? Помнит, лег и сейчас же заснул. И кажется, никогда бы не проснулся, если бы не такой зверский стук: ломится Колпаков: обедня отошла, все вернулись из церкви, обед подан.

«Трижды заходил твой земляк, сказал Колпаков, наведается попозже».

Весь день Савва ждет.

Ждать заманчиво, но и тяжело: нетерпение изведет и самое упорное «жду». И Савва изводился, ожидая: ему непременно хотелось сейчас же рассказать Виктору о своей встрече с Боженом: все так и вышло как было предсказано ночью: «Савва, вернись к нам!».

Заняться бы Савве на досуге делами — чего скрывать, давно заброшено отцовское, забыл он, кому должен, и кто у него в долгу, и в его торговой книге никаких записей.

На новый год пришла третья письмо от матери: мать умоляла Савву вернуться в Устюг; про отца ничего не знает, из Персии вести не скоры, и что она одна.

Савва не собирался отвечать, а о возвращении домой и мысли нет: Персия за морем, а Устюг, не даром и звался Гледень, на краю света. Письма матери были ему как с того света.

Поздно вечером, так и не дождав-шись Виктора, Савва вышел на улицу. Заглянул на площадь: пусто: праздник. И пошел за город в поле.

Свежо и ясно. Осень обещала звездную ночь, а на рассвете холодной звездной пылью покроет поле. С каждым шагом становилось жарче, в пору ильинскому полдню. Или огонь — душа горит! — горячил, подгоняя ноги.

Показались звезды.

И Савва слышит знакомый оклик: это Виктор.

Виктора трудно было узнать, ничего от гостинного сына, не площадной лошади: звезда ярче небесной серебрилась, тая на его островерхой шапке. Он взял под руку Савву и они пошли в ночь.

В темном поле им светили дорогу звезды, не те верховые падающие, а перелетные.

«Знаю, Савва, как ты меня ждал. По ожиданию судят о любви. Ты меня любишь. Хочу и я тебе ответить моей любовью. О любви судят также и по откровенности. Я открою тебе тайну. Слушай: в Устюге я не бывал и ни в каком родстве с Грудцыными, я сын великого царя, я царевич. Идем, я покажу тебе славу и могущество моего отца».

«Значит, правда царевич, а не самозванец!», подумал Савва.

Они спустились в овраг и пройдя по дну, поднялись на холм.

«Смотри, сказал Виктор, ты видишь?».

И Савва видит — и то, что он увидел, его поразило: еще во сне было бы понятно, но среди звездной ночи и этими глазами...

Глубоко, как глядя в пропасть, на версты в ширь и без конца до края такое раздолье, а посреди город — золотом и маковым цветом купальского огня блестяг стены, башни, мосты и переплеты воздушных лесенок и площадки.

«Вот стольный город моего отца, создание его искусства. Пойдем, я поставлю тебя к его руке».

Савва следовал за Виктором, голова кружилась. И ему не пришло на мысль спросить себя: как это возможно, вся земля принадлежит московскому государю и откуда же взяться городу — столица могущественного царя?

И когда они приблизились к городским воротам, их встретили серебряные с алыми поясами, эта была юная стража, лунные лица. Виктору они отдавали царские почести, и кланяются Савве.

И во дворе почетная стража, но не серебряная, а все в золоте с красными поясами, а лица розовой луны.

А когда они вступили в царские палаты, золотая пронизь и прорядь стен ослепила глаза.

«Савва, сказал Виктор, подожди тут, я доложу. А когда царь позовет тебя, подай ему свою рукопись. Мой отец большой любитель затейливых почерков, твое ему будет по душе и ты будешь почтен великой честью. Ты, „Неволя“ (Савва), почувствуешь в себе такую волю, сам чорт тебе не брат». И с тем же наглым смехом, памятно Савве, Виктор вынул из кармана кровью названную рукопись и сунул в руку Савве.

Свет от светящихся лиц заливал глаза.

Однажды в детстве Савва, купаясь, глубоко нырнул и не может выплыть. Так и тут. И когда Виктор вернулся и взял его за руки, Савва почувствовал, что не ногами идет, а плыл за ним под водой, и вот-вот вынырнет стать перед лицом могущественного царя — Князя Тьмы.

На изумрудном престоле, блистая царской одеждой, сидел он, царь над царями. А посторонь на меньших тронах, похожие на него, двурогие визири. А округ пестрый подол крылатая свита: синие, багряные, лиловые, зелень меди и смола черные («Многие языки служат моему отцу, как потом объяснил Виктор, персы, индей, китай, эфиопы»). Все было ярко и преувеличенно огромно: лицо царя, как с монумента, мерить не человеческой мерой, а на дальнем расстоянии было б всем наглядно воочию.

Савва стал на колени и низко до земли поклонился. И услышал голос, звучал над ним, как многотрубный четырехкопытный медный клещ: это двурогие визири в голос за царем повторяют слова царя:

«Откуда пришел и в чем твое дело?»

Тут поземные бесенята, рыльце летучей мыши, лапы жигалка, сползшись, окружили Савву, щекоча под мышки и скорябая, дуют в уши.

Савва живо поднялся и, в змеей протянувшуюся длань царя, кладет свое кровавое рукописание.

«Я, Савва Грудцын из Великого Устюга, слышит Савва свой голос и не узнает, пустой издадека, я пришел послужить тебе твой раб до смерти (подсказывает Виктор) и после смерти».

Близко к глазам поднес себе царь Саввин листок и внимательно рассматривает. И все двурогие визири тянутся взглянуть: какой небывалый закорюсчатый заплет в единственном начертании: «Савва Грудцын руку приложил».

«Я приму этого юношу, говорит царь визирям, большой искусник, а будет ли он крепок мне?»

«Дай срок, ввертывается Виктор, он себя покажет. А подкрепиться не мешает».

И тут воздушные бесенята, рыльце поплавок, стрекотные лапы, хлопая в замшевые ладошки закружились, хвосты над Саввой. Савва нырнул и плывет.

«Куда мы?».

«Царь велел накормить и напоить тебя, говорит Виктор, не стесняйся!».

* * *

Савву выплеснуло и он попал в столовую. И с ним никаких ни поземных, ни воздушных.

Это была царская столовая и в то же время царская поварня. Резали, кололи, потрошили и свеживали. Лилась кровь, и перо летит. Шум невозможный, толкотня невозможная. Все смешалось: люди, звери, птицы и бесы.

Черные бесхвостые обезьяны с приколотыми сади рожками прыгали и перепрыгивали по резанному, колотому и разможженному. В алых колпачках и алых от огня молочных халатах повара и поварята сутились у пышащей плиты, посвистывали, шептали и лязгали. И у всех, как у бесхвостых обезьян, приколоты были сади на алое, по не алая, а желтая роза.

В глазах у Саввы, яичась, кровенилось.

«Раковый суп! — по-заправски возгласил Виктор, Грудцын, насыщайся!».

Савва, чувствуя волчий голод, навалился на миску: там в желтом плавали красные рачьи голово-груды, начиненные густым белым мясом личинок назвозных жуков. Виктор то-и-дело наполнял порожнюю погорячее. Миска и Савва дымились.

На второе подали порядочную баранью заднюю ногу с рисом и навалили блюдо жареной картошки. И Савва съел три ноги, рис и всю картошку. А ему б все еще и еще, не может насытиться.

Тоже и пил он без счета и без разбору, мешал белое с красным и не мог утолить жажду ни квасом, ни брагой, ни медом. Остервенение и жадность напали на него.

«Много вин у моего отца, но такого я никогда не пивывал, и до чего все легко и вкусно!».

«Скажи, призрачно!», смеялся Виктор.

Савва протянул руку к гранату. Это был гранат невиданных размеров, с человечесью голову. Ковырнул ножом содрать кожу — и брызнувший малиновый сок едко ударил ему в глаза. А в ушах застрял сверлящий взвизг — над ним пошестались: «дурак!». Зеленые круги пошли в глазах, мутя.

Савва крепко зажмурился: «провалиться б!». И провалился. И видит кругом пустое поле.

* * *

Они идут полев. Над ними звезды, а впереди непроглядная ночь.

«Теперь ты все знаешь, говорит Виктор, но, попрежнему зови меня братом. Я царевич, а буду тебе за меньшого брата: чего бы ты не захотел, все сделаю для тебя. Только будь мне во всем послушен».

«Обещаю!», с легким сердцем сказал Савва, вспомнив вчерашнюю ночь, предсказанную встречу со Степанидой. И когда пришли они в город, из глаз Саввы вдруг пропал его меньший брат царевич. Савва окликнул — никто не отозвался.

«А мне он своего креста так и не дал!». Савва опустил руку в карман и вздрогнув, отдернул: «какой острый нож!»

И ему чего-то страшно, в глазах жгучая мгла, и весело.

* * *

Савва уверенно вошел в их спальню.

Жаркая лампада. Колдующая тишина.

Божен спал. Спала ли Степанида? На шаги она встрепенулась, приподнялась. И с ужасом поглядела на спящего мужа.

Савва вынул нож и поднял руку:

«На-ка!»

Резкий блеск ножа или сверкнувшая угроза — Божен, не просыпаясь, повернулся лицом к стене.

«В последний раз. Пришел проститься, — сказал Савва и не пряча ножа, обнял ее: в последний раз дай мне твою жемчужину!». И поцеловал ее.

Она не сопротивлялась. Ее губы дрожали.

Гордо сказал он:

«Любовь меряется: как ждешь и откровенностью. Я дождался и открою тебе тайну: я сын великого царя, я царевич. И люблю тебя по-царски».

И смотрел на нее и не оторваться, с тоской.

«Как же ты без меня?», спросил он, но совсем по-другому, как бы в чем-то виня себя и раскаиваясь.

«Первого трудно, сказала она, а потом...».

Она не договорила, она там договорила. Он остался весь, только сердце заныло, и ударил ее ножом в живот.

Чувство удара было так переполнено, точно он сам себя полыснул, и его вывернуло. Он увидел себя, как он сует в карман окровавленный нож и никак не может попасть. И уж без расчета воткнул себе в ногу. И пошел.

Он идет, не чувствуя боли, и никакого любопытства что там. В дверях нагнулся, знает, низкий потолок. И по коридору к окну.

Звездная ночь.

Но когда выпрыгнул из окна и очутился на улице, звезды пропали. Ему показалось, кто-то еще следом за ним спрыгнул. Над головой свирепо крутила метель.

«Метель, подумал он, это метель крестит и хлещет!»

Дороги не видно, а идет.

Он ли это или тот другой шел по полю с ножом. «Сам воткнул в себя, вынь!» — говорит. И он вынимает. И в карман сунул нож: «Ее кровь смешалась с моей!» И услышал знакомый призрачный шопот. Да никакая метель, это она неслась перед ним: наваливалась горячим телом и всем ртом, обжигая, целовала его.

Савва очнулся на оклик.

«Что ты ни на какую статью, как дикий конь. Кричу, а ему и горя мало. Весь окровенился».

Савва вдруг почувствовал острую боль в ноге.

«Ничего, пройдет!» Виктор нагнулся.

И от его горячего прикосновения разлилось тепло; и никакой боли.

«В городе тревога, сказал Виктор, ты не знаешь что случилось у Божен: Степаниду зарезали».

«Кто зарезал?»

«Разбойники».

Савва только вытянул по-гусиному шею, его стиснули сзади с боков два кулака и с такой силой, хребет переломится.

«Чего мы тут торчим в этом захламлении, беспечно сказал Виктор, тут со скуки умереть можно. Пойдем куда-нибудь в другое место. Погуляем, а захочешь, вернемся».

Савва на все согласен.

Он чувствовал, словно все у него вынуто и он пустой, окоченелый, без воли и ничего не хочется.

«Куда хочешь, я готов, сказал он, только как с деньгами? Пойдем в гостиницу, я заберу что еще у меня осталось».

«Брось, перебил Виктор, ты знаешь могущество моего отца, повсюду его поместья, и куда бы не пришли мы, деньги у нас будут. Идем!».

Виктор свистнул. И крепко, как крылом, ударил по плечу Савву, инда екнуло сердце так крепко.

И в миг они очутились на Волге за две тысячи верст от соликамского Орла в Козмодемьянске.

III

Закормленный до отвала, с утра до ночи в послеобеденной дреме, не скажешь, что город очень бойкий, волжская пристань и цвет благочестия и пример домостроя, Козмодемьянск.

И в это-то рыбное добротолобие, как снег на голову, ни на кого не похожие, ни речь и наряд не наш, два молодца, писанные царевичи, и уж богаты! И пошел дым коромыслом. В Смуту такого не запомнят.

Во-истину, «нечистый пребывает, еже хощет».

Савва и Виктор в гульбе — гуляют во-всю без очнутья, и удержи нет. Сыплется золото, льется вино, без умолку песни.

Какой соблазн для закупоренных, а живых человеческих чувств!

Где бы и в какой час ни появились приятели, Клим царевич да Пров царевич, так их величали, к ним тянутся, мухи на сладкую бумагу, и пойдет разгул. А на утро: у кого шея на бок, у кого глаз подбит, поступаи в фонарщики, а третий родителей не узнает или языка лишился, мычат короной, чего доброго отелится. За молодежью, пример заразительный, пустились и старики, люди семейные, потерянные годы наверстывать. А за мирскими и духовные.

Одной едой и молитвой человеку сыту быть невозможно, неспроста и не выдуманно: «воли хочу!».

Первые восстали черные попы, про белых не слышно: храмы Божие пусты стоят, к обедни хоть не благовести, зря, ни старого, ни малого не добудисься; дьякона в «Архипы» записались, певчие козлогласуют. За черными попами Губной староста: дня не проходит, чтобы ни жаловались на погром и увечье. За Губным старостой грозит Воевода: «добрерусь до мошенников, у меня живо!». Да разве угроза помогает: всех воров не переловишь, а пьяную глотку не заткнешь.

Никаких дел не водилось ни за Виктором, ни за Саввой: без них ничего не начинается, но всегда сухи выходят: на сплю и в мордобое руки не мараются, — глядят, да потешаются, Клим царевич да Пров царевич.

В кабаке было пьяно и чадно.

Виктор стравил двух дураков — дурака с дураком, а сам вышел, будто по лошадиному делу. И какой-то из дураков стал бахвалиться и задирать. И ясно было, «набитый» и в спор лезть, мараются, слово за слово, задохнулся, да как саданет по уху. Вернулся Виктор, а «набитый дурак» на полу, не то чего ищет, не то отыскал и успокоился. И

голоса не подает, значит, мертвое тело. И все видели, гогочут: «ай-да, Клим царевич, вот это по-царски, хлопнул и душа вон!».

Виктор подозвал Савву на два слова — по «лошадиному делу». Да из кабака вон.

«Надоело», говорит Виктор.

«А мне постыло».

Только Савва и успел сказать, как услышал знакомый посвист. Зажмурглись: страшно.

Виктор крепко взял Савву за руку и в миг очутились они на Оке, от Козмодемьянска не ближний конец, в Павловом перевозе.

* * *

В тот день на селе был торг. Хмельные, невыспавшиеся они без цели бродили от телеги к телеге, от балагана к кабаку.

У самого громкого, где пропивалась выручка и подпайвали простодушие провести и околпачить, бросился в глаза Савве: стоит у дверей, босой, без шапки, в руке посох, а на нищего не похож, и не старый, а как Савва, и только не в одной, а во многих водах купан, белый — прозрачный, и плачет.

И это были не голодные и нищие слезы, это были голубые, такой голубиной чистоты его небесных глаз. И Савву потянуло и он подошел к страннику узнать: о чем это так горько плачет?

Виктор по привычке играя в лошадику, пропал в толпе цыган.

«Брат Савва, услышал Савва голос. Я плачу, мои слезы по твоей душе. Савва, кого ты называешь братом, и ты думаешь это человек? В пропасть ведет тебя. На тебе кровь».

«Кто ты?»

«Я Семен Летоприводец, ты помнишь? нет-нет, ты все забыл. Я юродивый Христа ради Пречистые Девы Матери».

И блестя голубыми слезами, закукувал он, переводя кукувань в заупокой:

«Упокой Боже, рабу твою, убиенную Степаниду, в месте светлом, месте прохладном, месте покойном, иде же все праведные упокоиваются!»

И с последним протяжным кукующим словом Савва почувствовал, как там у него где-то в пустом его сердце вдруг открылся и ключом бьет прозрачный источник и всеми каплями до капельки подымается единым рыданием. Пусть и душа продана и руки в крови, но эта зарывавшая боль осветила и опамтовала призрачную пустоту сердца, отравленного любовью.

Савва вздрогнул: сквозь небесное голубое вдруг колынуло его и бьющий источник погас: Савва встретился глазами с Виктором. Виктор был далеко, но глаза его горели и были тут, перед Саввой — в них полыхал жгучий гнев.

Савва поспешно отошел.

Но все равно, никуда не спрячешься и ничего не скроешь. Видя только сверлящие, тянущие к себе глаза, Савва, как крючком поддетый, вытянут был из толпы. И догнал Виктора.

Виктор с остервенением набросился на Савву:

«Хорош гусь, связался с оборванцем! Этот слезоточивый прощальга, знаю я их, не мало пустил честных людей по миру. Видит на тебе богатую одежду, только этого и надо, небось, ничего не остановит! Они зорки, знают, где пожить. Разжалобит тебя, а потом удавом удавит. Их припев: „мать пустыня“, — доведет он тебя до пустыни. И ты думаешь, он человек? И это человек Христа ради юродивый? Да что ему Христос, он сам Христос. Пришел в мир разрушить лепоту мира и создать свой: „прекрасная пустыня“ — грязь, нищета, жалоба, отчаяние, свету не видишь».

Савва, как онемел.

«Нет, тебя нельзя одного оставлять».

И Савва почувствовал, как пальцы ногтями впились в него, а в ушах сверлящий холодный свист.

И уж не в Павловом перевозе на торгу, они стоят на площади в Шуе.

* * *

И видит Савва: высоко у дверей Собора Степанида. Она в дымчатом сером и, как из облака, спускается на землю.

Подошла к ним и с первым с Виктором христосуется. А потом подходит к Савве и поцеловала его в лоб.

Ревность и обида закипела на сердце у Саввы. И он плюнул ей в лицо. И отошел, не глядя.

Каменная сводчатая кладовая, под потолком железю. Как это страшно за человека очутиться в такой неволе: ни дверей, ни окон, холодный серый камень.

И когда Савва, глядя в свою серую ночь, погасил в себе последнюю надежду: «не уйти» — стена поднялась и открылся сад.

Степанида, но не та, не серое на ней, а коричневое, в роспуске на рукавах и подол пронизаны красным.

«С возвращением!», говорят она и кружится, хочет подойти к нему, но так еще далеко. Так далеко, но голосом близко, и он идет ей навстречу, повторяя ее: «С возвращением».

2

Фома Грудцын вернулся из Персии в Устюг. Много вывез с собой кизиль-башского добра: удачна была торговля и укрепилась дружба: Персию к рукам прибрать ничего не стоит, а какое богатство и народ сговорчивый: «Селамун алейкум!» и все тут.

Спрашивает Фома о сыне: жив ли Савва?

С горечью ему отвечает мать Саввы: «От многих слышу, по отъезде твоём в Персию, до Соли Камской Савва не доехал, а застрял в усольском Орле. Распутно живет, казну расточил, торговлю забросил. Писала ему и не раз звала домой, не ответил. И жив ли, не знаю».

Фома смутился: так не похоже на Савву, матери не ответил. И сам пишет в Орел Савве: не намеревался б послушаться —

«Немедля вернись, соскучился по тебе, хочу тебя видеть».

Ждет Фома. О сыне только и разговору. И чего бы не затевал, на первое Савва и в мыслях и в слове. Стали Фому, труня, не в глаз, а за спиной звать Саввич: чужая беда, что и счастье, надоедают.

А Савва домой не показывался, а и вестей о себе не дал: как в воду.

По весне Фома готовил струги с товаром.

«Отыщу, говорит, из-под дна достану, привезу сына домой».

И с первой попутой отправился в Казань, а из Казани к Соликамску.

И как будет Фома в Орле, и прямо с пристани на Саввин склад. На дверях замок. Разбили, и как вошел, «то-то, думает, найду порядок!» и удивился: товары разложены по полкам, казна в целости, торговые книги подведены и счета выписаны. «Стало быть все неправда».

Да Саввы-то нигде нет.

И кого только ни спрашивает — и тому, кто скажет, сулит казну, не прожить — и всякий бы с радостью, да откуда взять, никому ничего не известно.

«Безпреречно обещался быть к обеде, затверженно говорил Колпаков, а и к ужину не пришел. И в ночь, с Семенина дня, как быть греху со Степанидой, дома не ночевал. Злодеев всех переловили. На розыске воевода спрашивал о Савве, и как подвеся, огнем жиганули, в душегубстве сознались, а про Савву сказали: не знаем. С чего-то не поладил с Боженом».

Фома к Божену.

Встретились други — названные братья.

«Я жену потерял, сказал Божен, без хозяйки и в своем доме, как у чужих».

«А я потерял сына, сказал Фома, и не на что мне теперь казна, чужим не отдам, а в свои руки некому, все прахом пойдет».

Так ни с чем и вернулся Фома в Устюг. Жене все рассказал, — убивалась мать. А что ответит он там, скоро в последний путь, «сына, скажут, не уберег, куда пропал твой Савва!»

* * *

А Савва живет себе поживает в Шуе, и в ус не дует: о доме ни памяти,

о матери, о отце ни речи, и только что по имени Грудцын, а как есть без роду и племени.

О ту пору была сложена притча «о Горе-злосчастии», не о Савве ли этот горький сказ рассказывает?

Затевалась война с Польшей. Сигизмунд, старый король польский, помер, наступило в Польше «межкорольевье» — для Москвы самое подходящее отобрать у поляков Смоленск. Война кончится для Москвы плохо, но кто же это скажет, чем все кончается. Было уверенно: Смоленск русский и без никаких.

По всем московским городам объявлен набор солдат. В Шую послан с Москвы стольник Тимофей Воронцов.

Всякий день на площади учил Воронцов охотников-новобранцев военному артикулу. Зевак, что на пожар, что на солдат, за ними дело не станет. Савва и Виктор, делать им нечего, ходили смотреть на ученье.

«Брат Савва, заговорил Виктор, то ли он заметил, как барабан оживляет Савву, то ли у него была еще и другая мысль, хочешь послужить царю? Через царей только и можно вылезть в люди. Не записаться ли нам в солдаты?».

Савва согласен. Надо же куда-нибудь деваться: безделье, что разгул, приедается. И то сказать, барабан ему по душе, а царская служба долг.

И оба записались в солдаты.

Воронцов не спросил, откуда и почему: охотники, что непомнящие бродяги и от хорошей жизни не заохотиться.

Не пропуская дня, ходят они на ученье. Дело пошло ходко и споро. За какой месяц Савва не только одолел солдатскую муштру, а превзошел старших. Конечно, не без Виктора, но об этом кому знать.

Из Шуи Воронцовских солдат погнали на Москву. И в Москве они отданы были под команду немецкому полковнику для полка иноземного строя.

Немецкий полковник Оттокар Унбегаун, охулки в руку не положишь, отличил из всех новобранцев Савву за точные ответы и выправку. И в знак своего одобрения снял с себя свою расшитую драгоценным бисером немецкую шляпу и при всем честном народе под барабан нахлобучил на голову Савве. Все так и ахнули: наш устюжанин — Грудцын — и такая на нем шляпенция: сияет, сам жар-птица. И поручил полковник Савве три роты в ученье.

«Брат Савва, говорит Виктор, содержать солдат, не свиною подкармливать, будет нехватка, ты только скажи, я до stanu и не на три, а на тридцать три роты. В твоей команде не бывать ни жалобы, ни ропоту».

Так все и случилось. Савва тайных денег не жалел и его солдаты не бунтовали. А в других ротах беспорядки, да и до порядка ли: с голода мрут, тряпье

и рвань, стянет брюхо пояском, а все мелочи наружу.

И не зная, чем еще наградить Савву, немецкий полковник Оттокар Унбегаун, на шляпу Савве, поверх бисера, насадил зеленое мекленбургское попугайное перо, и приказал своим немецким солдатам, обращаясь к Савве, не «дукасть» (по-русски «тыкать»), а как к начальнику «зикать» (по-русски «выкать»).

В немецкой полковничьей шляпе с мекленбургским зеленым попугайным пером, Савва на Москве всякому в глаза и под нос, от зевак ни проходу, ни отбою. Виктор, оруженосец Саввы, тоже нацепил себе длинную польскую саблю, гремит, что с горы с жестяной посудой катит воз. И в который дом ни придет и что бы ни сказал, везде Савву отличают, у всех он первый и всякому в пример.

* * *

Царский шурин, боярин Семен Лукьянович Стрешнев, во времени у царя, и кому не лестно с таким знаться, сам пожелал познакомиться с Саввой.

Савву поставили перед боярина.

И с первых же слов Савва очаровал вельможу.

«Хочешь, Савва, сказал Стрешнев, я приму тебя в свою службу и отличу из всех моих приближенных».

«Есть у меня брат, отвечал Савва, будет на то его воля, я с радостью послужу тебе».

А когда Савва рассказал Виктору о предложении Стрешнева, Виктор пришел в ярость:

«И ты хочешь отвергнуть царскую милость и служить его рабу? Чем ты ниже Стрешнева? О тебе говорит вся Москва, а скоро узнает и царь. И когда он увидит твою службу, он возведет тебя куда повыше Стрешнева. Да то ли еще будет! Помни, ты этим выскочкам не ровня, ты...»

«Клим царевич», подсказал Савва и горько усмехнулся.

Когда Виктор взбесится, все в нем в припрыжку и колющий. И шутки с ним плохи. Савве не подчиниться ему никак. К Стрешневу он больше не пошел и затея честолюбивого боярина не осуществилась.

Солдаты, обученные иноземному строю отданы по стрелецким полкам в дополнение. Савва и его оруженосец Виктор поставлены на Сретенье в Земляном городе в Зимине приказе в дом стрелецкого сотника Якова Шилова.

Подходило время к выступлению под Смоленск. И начинаются ратные подвиги Грудцына и его известность царю.

О Смоленских подвигах Грудцына рассказывали, как сказку.

Во главе московского войска стоял боярин Федор Иванович Шенин. В Смуту воевода в Смоленске знал он город, как свой двор в Москве на Болвановке. И все-таки перед выступлением поговаривали о лазутчиках проверить укрепления города и места, где стоят орудия.

Вызвался Савва, а подготовил его на такое опасное дело Виктор.

Рассказывают, что накануне Виктор водил Савву в баню: «покажу де тебе царские знаки». Нет никакого сомнения, в голове у беса было укрепить веру в свою нечеловеческую природу у всемогущество.

У Виктора оказался порядочный хвост, не похожий ни на какого зверя, цвет тела и этим тельным хвостом оплетает он себя, как поясом, а кончик спущен по-середке от пупка вниз прикрывающая причинное. К удивлению Саввы, никаких причинных не оказалось, а на ихнем месте, как у трехпечатных скопцов, звезда. «Хаиская! заметил Виктор, золотой орды». А когда Савва, поддав пару, затеял потерять спину, Виктор честь-честью лег на лавку, — да тереть-то было печего: прозрачная слюда прикрывала сади от плеч до хвоста и видно было, как он дышит, никакого хребта, и пятки впомне не было. Виктор будто бы заметил: «старайся, брат Савва, а у тебя впоследствии такое будет». И без венника, помоча в кипятке хвост, так хвостом настягал Савву, что тот и не помнит, как у стрельца очулся, и к удивлению Шилова и Шилыхи выдул залпом три боченка молодого кваса и сожрал соленых огурцов без счета.

На утро Виктор повел Савву на Красную площадь. И прямо на Лобное место. И став лицом к Покровскому собору, что на рву (Василий Блаженный) свистнул своим дьявольским свистом и вмиг очутились они в Смоленске.

Три дня провели они в городе, сами все видя, и никому в глаза. На четвертый день объявляют себя полякам. Поднялась стрельба: подбирай полы и беги. И тут вышла заминка: Виктор мог превращаться в любого зверя и птицу, а Савва, как есть, и все на него пальцем: этот!

Рассказывают, выскочили они из города и к Днепру: вода расступилась и они по-суху перешли на ту сторону.

«Не иначе, как московские бесы в человеческом образе, говорили поляки, где ж это видано: Днепр расступился!»

И не такое еще бесовское действо, не три дня, восемь месяцев будут они чуметь в осаде, пока на выручку ни явится Владислав, новый король польский, и погонит нас в-зашей вон к Москве, отобрав обоз и все до одной пушки.

А когда московское войско 32.000 под барабан выступило из Москвы к Смоленску, Савва шел неразлучно с Виктором.

Виктор говорил Савве:

«Будут поляки вызывать на единоборство, выходи, всех одолеешь. Третий и последний копьём ударит тебя в стегно, не бойся, я тут и никакой боли!»

И как будет московское войско передними рядами подступили к Смоленску и начались переговоры: думали, голыми руками возьмем поляков, да не тут-то, верх взял горор.

Из города выслан был воин. И летопись пишет: «страшен зело, на коне езда и искаше из московских полков противника себе». А кто осмелится против такого, идолище, посмотреть, душа в пятки?

«Будь, говорит, у меня воинский добрый конь, я бы вышел на брань против этого царского супостата».

Оповестили боярина Шенна. Велит дать Савве коня и оружие. И пожалел Савву: ни за что пропадет: так свирен был и страшен польский воин.

Бесстрашно выезжает Савва. Бьются. Виктор черным колесом у стремени: то завьется, как дым, то заискрится. И польский исполин побежден. Савва привел его с конем в московский полк. Еднный клкч: «Грудцын!»

На следующий день выехал польский воин еще страшнее — заглянуть было б ему в зеркало, сам себя испугался б, страшлище! Но Савва не оробел и этого кокнул: и не человек, не камень, гора рухнула с коня на землю. И опять у всех: «Грудцын!»

И с третьим справился Савва, но этот напустился с такой яростью и, падая с коня, ранил Савву в стегно. Тут Виктор: он только подул и раны, как ни бывало. И все кричат: «Браво, Грудцын!»

Полякам зазор, московским на удивление.

И начался бой.

И где Савва с какою крыла поведет наступление, поляки бегут. Без числа сразил он поляков, а сам невредим.

Имя Грудцына заполняло Смоленск.

Боярин Шенин позвал Савву к своему шатру.

Будут потом говорить: боярин позавидовал Савве. И потом назовут Шенна «изменник» и казнят на Москве. Нет, в Смуту воевода Смоленска показал, что значит любить Россию, и причем завпсть и о какой измене.

«Скажи мне, какого ты роду и чей сын?», спросил боярин Савву.

«Фомы Грудцына сын Савва из Великого Устюга», ответил Савва.

«Что же тебя толкнуло на такой отчаянный путь? удивился боярин, мне хорошо известен Фома Грудцын, безмерно богат. Как же ты оставил отца? Не по бедности же ты записался в солдаты или тебя преследовали по суду? Немедленно отправляйся в Устюг и помогай отцу. Ослушаешься, взыщу».

Савва отошел от шатра, «хороша награда!»

«Что ты такой печальный, говорит

Виктор, коли Шенну не угодна твоя служба, вернемся в Москву».

И тут перечить нельзя.

И сказалось у Саввы тем же словом и с тем же чувством, как однажды у Степаниды, в церкви на пасхальной заутрени, матери — «как вы живете?» — «воли хочу».

«Воли хочу!» сказал Савва.

И темная печаль покрыла его с головой.

Виктор свиснул — и они очутились в Москве.

IV

В Москве Савва жил, как и до Смоленска, на Сретенке у стрелецкого сотника Якова Шилова.

Весь день с ним Виктор: приятель что-то задумывает, и не простое, не в шутку называя Савву «даревич»:

«Мы им покажем!» — его постоянный отхрюк.

А на ночь уйдет. Сказывал, у него по всей Москве свои люди и где ему вздумается, там и проведет ночь. А просто говоря, ни на Щипок, ни на Зацепу ему и не для чего, а где обычно темная сила пребывает до третьих петухов, все вместе, туда он, распусти свой колючий хвост, и стреконет.

Под Смоленском имя «Грудцын» было у всех, орал, допелло до Москвы и повторялось и со всеми сказочными прикрасами и прибаутками, а между тем Савва никуда носа не показывал: Виктор скрывал его «до поры до времени».

Из Устюга пришло известие: с год, как помер Фома, а нынче зимой скончалась мать.

Казалось бы, чего Савве Москва, прямой путь в Устюг, как и боярин Шени ему указывал: Савва единственный наследник несметных Грудцынских богатств: Волга и Кама и Персия, — последний в роде Грудцыных. Но когда об этом заикнулся Яков, Савва пришел в ярость и резко напрямик заявил сотнику, что в Устюг никогда не вернется, казна его не забирает, а умирать неизбежно.

«Так или иначе!» и ножом замахнул на перепуганного сотника.

Стрельчиха уверяла, что не Савва, а все мутит приятель, а этот приятель его, ли кум, ли сват чорта, и под сапогами у него черные козловые копыта, а на голове железные, бараном завитые, рога.

С каждым днем Савва становился мрачнее, его глаза говорили всеми словами: не глядел бы на свет. Прежде выйдет, хоть по двору пройти, весна на дворе! А теперь, уж не неделями, а днями считай, Москва-река вскроется, а Яуза затопит огороды, пришла весна! а он из комнаты ни ногой.

«Ольга Кузминишна, обратился Савва

к стрельчихе, и слова его, как вырезались из сердца, завтра Благовещение, будете выпускать птичку? и таись, шопотом: было б мне душу освободить!»

На Пасху не пошел в церковь и не разговлялся.

«Мне все противно, сказал он, впрочем, все равно».

Смутные годы потрясенной и всякой путаницы оставили по себе след в «черной немочи». У всех в памяти черная смерть Пожарского. И Шиловы болезнь своего знатного постояльца определили ходячим: «черная немочь».

Савва ни на что не жаловался, но уж подняться не мог: он весь день лежит. А ночь — какой там сон! — бессонная черная тоска.

Стрельчиха забеспокоилась: неровен час, помрет без покаяния. Но на все ее уговоры позвать священника — да Савва не верит: какая же это смертельная болезнь его черная тоска?

И Виктор подбадривает:

«Помирают, говорит он, от ран. Но ведь ты же не помер».

О душе не было речи. Да и о чьей душе разговаривать? У бесов — да с какого она конца, не паша. А у Саввы душа была запродана и находилась в надежных руках.

Виктор не мог не знать, что не только душой замыкается состав живого существа; и что расстройство души, запроданной или свободной, открывает путь тому, что над душой, вышнему духу человека. Виктор беспокоился, хоть и виду не показывал, всегда беспечный или шутит или издевается: лечить раны это его, но лечить душу ему не дано.

Стрельчиха ухаживала за Саввой: не накорми, сам о себе не вспомнит. И все свое, о божественном. И до чего это бабы — тайное тайн — до пелли человека доведет, и она же дорожку покажет в царстве небесное. И уговорила-таки Савву. Или и без стрельчихи до его душевного слуха дошло: не пора ли дать отчет?

* * *

Шиловы в приходе у Николы в Грачах на Сретенке, по соседству. Стрельчиха, незаметля, побежала в Грачи, уличила Никольского батюшку Варнаву. А был этот Варнава, говоря по-книжному; «иерей леты совершен, муж искусен и богобоязлив зело», — и все попу на чистоту без утайки о постояльце, как денно и ночью мучается сердцем и страдает душою, и просит поновить.

2

В субботу отпев всенощную, Варнава, захватя запасные дары, явился в дом стрелецкого сотника Якова Шилова. Савва лежит в оцепенении.

Или это летний вечер теплом и памятью заострил его мысли и помышления: все прошлое ясно, и какая темь!

Варнава прочитал покаянные молитвы, и велит всем выйти вон из комнаты. И когда сотник и сотничиха и все, кому случилось быть в тот вечер у сотника, вышли, Варнава проверил дверь и положила «начал», приступил к исповеди.

* * *

Савва приподнялся, хотел перекреститься, но его отяжелела рука, не сгибая пальцев, только пошарила по одеялу.

А истерпевшийся и вдруг освобожденный голос зазвучал ясно — какие промытые звуки! — и ни разу не изменил себе, наперекор усиливающемуся шуму, переходящему в угрожающий вой, скрябь и злобную таратайку с завыванием.

«Упокой, Боже, душу рабы Твоей, убиенной Степаниды, в месте светлом, месте прохладном, месте покойном, иде же вси праведные упокоиваются!»

... возможно ли меня простить изгладить из вечной памяти непрощаемое моей совестью между нами была тайна пути этой тайны привели нас к нашему концу и концы в воду сколько раз в отчаянии я говорил себе если бы мне разлюбить тебя таких слов ты не произносила и не могла ты хорошо знаешь для меня ты все нераздельно я был готов и не раз за тебя умереть а вот я тебя убил и если я ошибся я доверчивый по моей подозрительности не прирожденной а привитой и ты не та не так не то ты говорила и слова твои простые безхитростно и без лукавства и твое молчание не было замалчиванием преступление мое еще глубже и вина непоправимее а мое раскаяние безнадежно если бы ты знала если бы ты поняла до самой глубины твоего сердца почувствовала как я любил и как люблю тебя и такую любовь нет закона можно или никакой власти запретить или позволить моя любовь самоцветна и ни перед чем не остановилось и не остановился ради любви к тебе душу продал и убил тебя и разве я похож и можно ли меня испытывать как и чем берутся на пробу другие что для них проходит незаметно для меня гроза ночь а в словах нет ничего так зря если бы это знала ты мне дала столько счастья и отравила лютой горечью без умысла конечно в твоих глазах я оказался как все я царевич а ты обрадовалась «клякнуло» и за этот клевок я убил тебя а когда я люблю никто тебя не любил и не полюбит чувствует всякий но цвет

и сияние чувства не одно я огонь а когда я вижу тебя в моих глазах две зари рассвет и вечерняя и одна ты в твоей власти изменить мою судьбу о простоте мечтал я и не думать и не мог отогнать мыслей мысли изрезали меня любовь безумна в ее каждом мгновении вечность все проходит но для меня ничего не пройдет «больше тебя никогда не увижу» ты сказала нет я душу мою положу за тебя и я ее отдал но твоей душой не овладел и убил тебя прощай я себе сказал и эта крышка закрыла для меня свет смириться мое сердце переполнено до краев ради моей любви я все приму но разве я могу смириться я не «грех» каяться тебе не в чем любовь безгрешна венец Степанида «грех» огорчить но обрадовать о таком грехе не слышно проснусь ли я или задуманье первая мысль о тебе как я люблю тебя смотри я сам по себе люблю цветы дышать и глядеть когда тыходишь с тобой целый сад деревья цветы трава ты всегда как в первый раз деревья цветы трава тихо льнут а твои шпы и колочие ветви люблю когда ты смотришь мне в глаза твой голос твои руки легкое ласкающие пальцы твою улыбку и твой глубокий взгляд там твоя прошлая бедность твоя неволя загубленная жизнь и наша жизнь я заживо погребенный кожа на мне содрапа надо смириться как ты смирилась из-под земли мне выхода нет хочу еще скататься в моей подземной норе и гореть от боли «ты меня ни о чем не спрашивай не будет лжи» стало быть была ложь, какая черная тоска и в этой темной одежде пойду в свой последний путь без тебя превращусь в черную змею но ждатель-то мне некого жгучие острия огня тоска моей любви разлука умереть захлебнуться горбатая душа не могу не пзбуду твои слезы залили мои мысли гасят слова снами с меня мой грех в мыслях во сне под напевы песен о тебе вся ты во мне обман и моя любовь нет я обмазывал самого себя ты мне не веришь я пропал сердце колотится защищаясь мой последний день и ночь свет кровь «с первым трудно, а потом»...

«А потом...» Савва не договорил.

«Я договорю, сказал кто-то, и больно кольнуло его в глаза, ты ошибся: она не такая, не то и не так, не то она говорила, она хотела сказать... она спрашивала *туда*: „что выше любовь или душа?“ Ради чистоты души, ради спокойной совести — жить во лжи, таясь, невыносимо! Она пожертвовала свою любовь. А ты ради любви продал свою душу».

«Любовью не жертвуют, сказал Савва, любовь покроет и самый грех!» —

«Смирись!» — И больно кольнуло его в глаза, весь он подобрался: было такое, вот расплющит.

Виктор тянулся за толпой похожих — синие, багряные, лиловые, зелень меди и смола черные, и все это сборище сновало в клубах дыма, урча и вой.

«А ты подлец! услышал Савва и вздрогнул: глаза Виктора сверлили его, окуная в лед и паля огнем. Думаешь, покаянием отвертеться, вы, люди, тварь Божья. Ведь этак можно все „честные слова“ сладить, всякий обман оправдать и от всего отречься. Скажите, пожалуйста, какое геройство, подлецы вы все неблагословенные, вам и разум-то дан, чтобы обманывать. А есть такое, чего ничем не сотрешь: кровь! Смотри: твоя кровь! И высоко над головами он поднял листок из записной торговой Саввы, тебе это так не пройдет, клятвопреступник!».

И как по расчищенному Виктор прошел сквозь дымящееся пестрое месиво и ухватил Савву за шею, поднял над кроватю:

«Царевич! ты самозванец, так па ж тебе!» и ударил Савву головой о стену.

И со всех концов потянулись к кровати щипатые, щелча в глаза и сдавливая горло. И смяв, подбросили его под потолок.

Протяжный вой тугим пастилом все покрет. Утрамбовывая, вызвучивало с переливом: то ли это Савва смертельно болей, то ли его мучители в яри.

На крик сотник и сотничиха бросились к Савве.

Варнавы нет, а Савва на полу.

Он лежал навзничь: лицо потемнело, закаченные глаза, распухший прикушенный язык, и рот в пене.

3

«Бесноватый, надо вести в Симонов, отец Касьян отчитывает, ему виднее», говорит Варнава.

И как это он тогда от сотника ушел, чудеса!

«Все шло ладно, рассказывал Варнава, а как стал Савва заговариваться, поднялось не весть что, святых выноси: лавки, стол под потолок, посуда, книги в-лет, вой, свист, лекотня, впились в волосья, за рясу дергают».

«Бесноватый» в доме не весело. А лучше того, не дай Бог, помрет. Не быть бы в ответе? Что скажет царь, как узнает?

Счастье Шиловых: нашлась у них родственница, соседка. А была она вхожа к царю: родная ее сестра Акулина Ивановна, первая царская стряпуха и в большой чести у царя. Шлиха о Савве соседке и о Варнаве, как попу басы в голове поискали. Федосья жалостная, пожалела Савву, а о Варнаве заметила: «не след попу с бесами связываться». А и то правда, доведись до греха, Ши-

ловы ни за что пропадут, не скроешь; Грудцын не Лубяная сабля, ослоят.

Никогда еще так нагло не орали на Москву «слово и дело Государевое», как в снемоту при царе Михаиле Федоровиче: «слово и дело» та же «черная немочь», а выражалась не в грызущей тоске, а в неопишемом страхе попасться: у кого не в духу рыльце, знай для отвода: вали на соседа.

Федосья, захватя укропа, — никогда не мешает гостинец, будь то родная сестра — козырем отправилась в Кремль.

И у царской плиты сестре все раскудахтали и о Шилове и о Шлихе и о Варнаве и о бесноватом Савве, и чтобы Акуля довела до ближайших царских синклитов, а те б царю.

«Грудцын не Лубяная сабля, да и за Саблю пынче взыщут».

«Не забудь, Феня, чесноку, сказала на прощанье Акулина Ивановна, Лукьяныч у нас из всех овощей его предпочтает: и сердцу, говорит, очистка, и дух чистый».

Редкий из синклитов без поры и времени не терся на царской кухне, будто глаза ради и безопаски от паговора — легче легкого подсыпать в кушанье отраву! — а на самом деле и старому и малому было в развлеченье с поварихами посудачить: у Акулины Ивановны как наподбор, все они крупчатые, губки бочоночком, а с голоса пеночка и пышет. Непременным всегдадатаем кухни всякому в знать: царский шурин боярин Семен Лукьянович Стрешнев.

В тот же день во дворе только и разговору, что о Грудцыне, смоленском герое бесноватом Савве, стоит у стрелецкого сотника Якова Шилова на Стрешне.

Судьбу Грудцына царь принял к сердцу и приказал: как будет смена караулов, послать в дом к стрелецкому сотнику по два караульщика.

«Болезнь у его черная немочь, да надзирают опасно, не то, от бесовской доуки обезумев, в огонь или в воду кинется».

И еще велел царь повседневную пищу посылать Савве, и возвещали б о здоровье.

С этого дня в доме Шилова хозяйничали стрельцы-караульщики, что твои бесы, сотничихе другая забота.

А бесам, что караул, что без караула, лишь бы мучить. А Савва мучимый бесами, и вилкой не поковырял разварную царскую телятину. И о каком здоровье извещать царя, хоть бы скорее конел!

Так все и ожидали: кончится и Савва и Шиловы и родственница Федосья и ражие караульщики и потемневшие от злости бесы.

Говорили, Виктор не в обычай, днем его никогда не видно, а к вечеру объявится, и уж не скрывался, во всем своем бесовском обличьи: протянешь ему руку здравствуйте! так он, окаян-

пый, хвост свой колючий сунет тебе, изволь потом в богоявленской воде руку вымачивать.

Стрелец-караульщик Харька Мышелов, озорной, пугая баб, рассказывал за ужином, будто Виктор, Харька видел собственными глазами:

«Уселся прямо на солнце, задрал беззлые ножищи, вывалил на стол свой астраханский хобот, ему де для просушки, лапой пошлепывает, мух отгоняет и гогочет».

Ну, да у Харьки язык не перо, не кисточка, а самопис без обмочки.

Виктор, певылазно день и ночь в комнате Саввы, командовал над своей темной дружиной: их бесовское дело добросовестно подбрасывать Савву и, под пыром сбросив на пол, кулачить почем ни попало.

С каждым днем бесы ловче проделывали над Саввой свои мучительные упрямства, а для Саввы тяжче.

* * *

Сегодня 3 июля, в Великом Устюге праздник, день Иоанна Юродивого. Этот день будет памятен Савве.

После тягчайших мук необычных, Савва, вконец обесспеленный, крепко заснул.

В доме мертвая тишина.

Федосья побежала за Варнавой: все равно, и мертвого может поп, растормоша, поновить ради «христианской кончины живота». А сотник и сотничка и с ними караульные стрельцы вошли к Савве.

Савва мертвый.

Стоят и смотрят: «прибрал Бог, царство ему небесное!».

И вдруг на оможенных глазах Саввы показались слезы. Не просыпаясь, он приподнялся, как бы что-то увидя, и отчетливо:

«Обещаюсь. Все исполню. Помилуй!»

И так это было страшно от мертвого слышать, на сотника и сотничку напал столбняк, а стрельцы к Савве тормозить: охота дознаться с кем мертвец разговаривает. Но Савва только закатывал глаза, а сказать ничего не может...

Пришел Варнава с запасными дарами.

«Хорош покойник, сказал Варнава, дышит как здоровая лошадь!» А стрельцам попенял: «этак кулачищами и живого на тот свет немудрено отправить, а покойника беспокоить не годится».

И когда Савва проснулся, все его спрашивают, что ему виделось и отчего плакал.

«Видел я, сказал Савва, и, как во сне, слезы показались на его оможенных глазах, какая богатая багряная одежда на ней и вся она светится — это лицо ее, эти глаза ее. „Что с тобой, спрашивает, отчего так печален?“ — „Ты сама знаешь, говорю, отчего я печален“. Она улыбнулась и улыбка ее все оза-

рила и свет теплом меня окутал. „Ты тужишь, как тебе выручить твою расписку“. „В моей любви к тебе“. — „Я помогу, обещаю, ты оставишь мир“. — „Обещаюсь, помилуй!“ И тут багор на ней вспыхнул изумрудом и разгораясь, переплавился в лазурь. И я услышал голос, этот голос я с детства помню, какое участие и какая нежность: „Савва на праздник в Казанскую ты придешь в мой дом — что на площади у Ветошного ряда. За твою страдную любовь перед всем народом я чудо явлю над тобой“».

Варнава, положив «начал», запел молебен Казанской. Стрельцы подпевают догмат шестого гласа:

Кто тебе не ублажит
Пресвятая Дево.
Кто ли не воспоет
Твоего пречистого Рождества!

Федосья как с пожара выскочила от Шиловых и стремглав в Кремль. И там через воротных, дверных и палатных цепучей кошкой по лесенке на кухню к сестре Акулине. И не передохнув, о Саввином видении слово-в-слово:

«Приходи, говорит. Саввушка в Казанскую в мой дом на площади у Ветошного ряда, чудо явлю над тобой». «А чеснок?»

И только тут вспомнила Федосья, что Стрешневский чеснок забыла у Шиловых на кухне.

«Я живой рукой. С рогожского огорода».

Но и до Рогожского огорода, без чеснока к обеду все ближайшие царские спиклпты узнали от Акулины Ивановны о Саввином видении. И на ужине Семен Лукьяныч сообщил новость царю.

«То ли еще! сказал царь, человек потемки, а судьбы Божие неисповедимы и скрыты».

Вся Москва дождалась праздника Казанской.

* * *

В Казанскую 8 июля крестный ход в Казанский собор, что на площади у Ветошного ряда.

В крестном ходу за хоругвями и образами шел царь Михаил Федорович и святейший патриарх всея Руси, отец царя Филарет Никитич, а в стороне, без дороги, как царь и патриарх, путь перед ним чист, шел Семен Летоприводец — Сема Юродивый Христа ради Пречистые Девы Марии. На царя и патриарха смотрели, не различая образов, как на икону, а на Сему смотреть в глаза кто посмеет? Вихрь света крутил над его головой и этот свет притягивал к себе все живое и острачивал волю.

С утра было грозно. Чего-то медля, но неуклонно из-за Воробьевых гор наплывали тяжелые тучи. Жара нестерпи-

мая. А народу, как на Пасху: всякий час, всякая минута человеческой жизни чудесна, да не всякий день чудеса совершаются напоказ.

Царь до хода послал стрельцов на Сретенку, поставили б Савву на обедню в Казанской. А не легко было исполнить царский наказ: Савву несли на ковре сменой — неимоверная тяжесть! Еще бы, будь один Савва, а сколько их понесло и понатыкалось на ковер последний часок поиграться с несчастной жертвой, а потом и «задушим».

* * *

В притворе собора положили Савву на ковер в сторонку.

Торжественно началась обедня.

Бесноватые, не замечая друг друга, и только чуя, томновали, прячась по углам в кругу сопровождавших: тоска — плывут глаза, горя какая пронзающая скорбь разжала губы, сжав бороздой надглазье!

Затаенно прислушивался затравленный Савва.

Битком набитый Собор, а все было молитвенно спокойно, даже дети не вскрикнули, и только за освещении даров как прорвало, вдруг заклокотало и пошло.

И под курлыканье, утиный крик, пещий подвой, въздыхания кукушки — «поймешь ли — понимаешь ли — помнишь?» — Савву подшвырнуло под хрустальное паникадило и наотмашь головой дернуло в окно — тонко беспомощно зазвенели осколки и Савва, падая на ковер, источно — лопнет грудь, так крикнул:

«Степанида!»

Это был кровью налитой голос — поднявшаяся из горла кровящаяся с содранной кожей рука...

И до самой Херувимской, обмерев, лежит пластом.

В Херувимской, в «иже херувимы» есть что-то напевноколдующее. Мне видится саморазмыкающийся замок и вот дверь настезь, смотри, какое заманчивое поле. синие незабудки, уведет, затянет — по пояс, по горло и оставит одни глаза, гляди: какой это страшный этот Божий мир, «иже херувимы тайно образующе».

И опять поднялось из всех затаенных углов раскованных беснующихся душ. И из всех кличей особенно внятно и не по себе, как в змеиный шип затрудбили жабы.

Вся видимая и невидимая, вся растительная, каменная и кровавая клочкотала сквозь, над и под, вверх и вниз. И над всеми голосами издадека, но всем слышно, да, это все слышали! непохоже и властно, не простою речью, а высоксий, по церковному:

«Савво! Савво! стани и гряди семо в храм мой!»

И Савва, пробужденный непреклон-

ным зовом, легко поднялся с ковра и, твердо ступая по хрустящему можжевельнику, идет через всю церковь. И став перед образом Божьей Матери в лучах глаз светящихся из глубины пучинных скорбей за весь страждущий мир, за всех нас, не зная за что и зачем бедующих на Божьем свете, втянул в себя, точно с воздухом вбирая в себя всем ртом свою потерянную душу.

Под сухой соломенный треск разорвавшегося небесного снопа, ударил над Москвой тысячагремучий чутунный гром. Казалось, но этого мало сказать, со всех Никольских и Варварских колоколен и кругом по Москве до Симонова, Донского, Новоспасского и Андрониева с на-прасным звоном попадали на землю колокола.

И от верхнего церковного округа, перепархивая в воздухе, падает — смотрите! — упал к ногам Саввы листок. Савва нагнулся и поднял с пола, знакомый! из отцовской торговой книги. И удивительно: никаких завитков и росчерков подписи, стерто, сглажено — чистый листок бумаги.

Тут Савву окружили царские спиклты и Стрешнев выхватил из рук Саввы листок показать царю.

Царь и патриарх, взяв Саввино рукописание, и так и этак, то на свет посмотрят, то к глазам подведут.

«Да никак чистый листок!», сказал царь.

«Чистая бумага!», сказал патриарх.

И Савва слышит, памятное с детства:

Кто тебе не ублажит
Пресвятая Дево...

«Брат Савва, ты меня помнишь?» и тихо за руку.

Савва очнулся: глаза сияющие светом голубых цветов смотрят ему прямо в душу.

«Семен Летоприводец!» — воскликнул Савва, но это было, как на том свете.

«И из этого света уйдем!», и слезы взблеснули на сияющих глазах.

Они шли через всю церковь к выходу, юродивый и бесноватый. В дверях юродивый приостановился и, обернувшись лицом к образам, закуковал. И это его прощальное с миром какую горечью проняло заоблачное ангельское «Свят-свят»...

И вся демонская сила бросилась, сломя голову, из церкви.

Впереди Виктор.

А какой оказался он маленький: детское тельце, молочный рот. Или таким представился? Прыгает на одной ножке, а рукою вплювь загребает воздух. Близо локоть, да уж куда там!

Этот выродок человеческого рода с перепельным звяком вериг — перепестуемое застенье. Этот из демонов демон: победил непобедимое человеком страх и боль, и что перед ним какой-то бес, пусть даже первый.